



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



КНИГА
О
Л. Н. АНДРЕЕВЪ

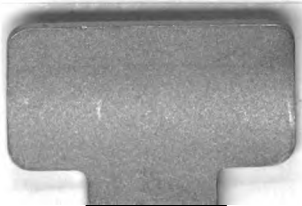
~~Slav 2 G 3~~

47, Wellington Square, Oxford. OX1 2JF

28. 10. 99



~~PG 3452.26.K693.Ed.2~~
= TNR 28827



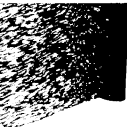


302595114U

61-

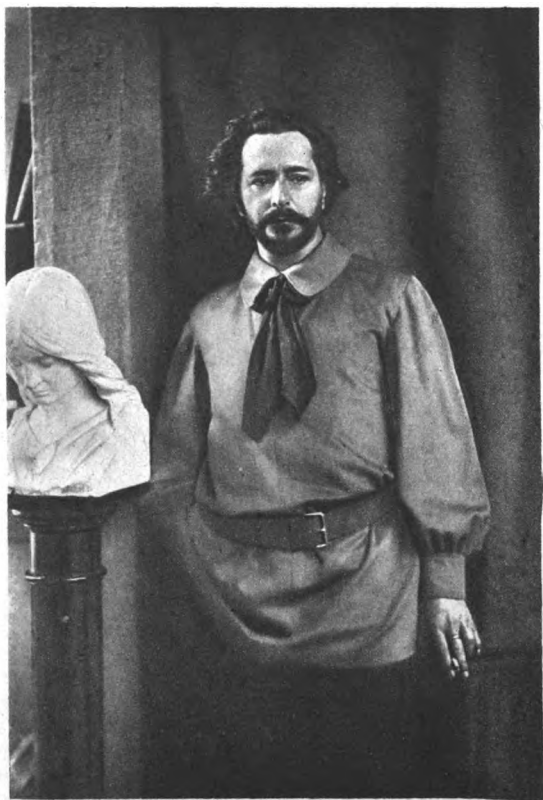
254











КНИГА

О

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ

ВОСПОМИНАНІЯ

В. Г. Короленко, К. Чуковский, А. Блок, Георгія Чулкова,
С. С. Савицка, Н. Телешова, Евг. Замытина, Андрея Бллага.

Второе дополненное издание

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕВИНА
САНКТЪ - ПЕТЕРБУРГЪ • МОСКВА

1922



КНИГА
О
ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ

ВОСПОМИНАНІЯ

**М. Горькаго, К. Чуковскаго, А. Блока, Георгія Чулкова,
Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина, Андрея Бѣлаго.**

Второе дополненное изданіе

254

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИНЪ • ПЕТЕРБУРГЪ • МОСКВА
1 9 2 2

**Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes,
vorbehalten**

Copyright 1922 by Z. I. Grschebin Verlag, Berlin



Типография Шпамера в Лейпциге

М. Горькій.

Весною 1898 г. я прочиталъ въ Московской газетѣ «Курьеръ» рассказъ «Бергамотъ и Гараська» — пасхальный рассказъ обычнаго типа; направленный къ сердцу праздничнаго читателя, онъ еще разъ напоминалъ, что человѣку доступно — иногда, при нѣкоторыхъ особыхъ условіяхъ, — чувство великодушія, и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, — скажемъ на день.

Со времени «Шинели» Гоголя русскіе литераторы написали, вѣроятно, нѣсколько сотенъ или даже тысячи такихъ нарочито трогательныхъ рассказовъ; — вокругъ великолѣпныхъ цвѣтовъ подлинной русской литературы они являются одуваничками, которые, якобы, должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души¹⁾.

Но отъ этого рассказа на меня повѣяло крѣпкимъ дуновеніемъ таланта, который чѣмъ-то напомнилъ мнѣ Помяловскаго, а кромѣ того въ тонѣ рассказа чувствовалась скрытая авторомъ умнишечка улыбочка недоувѣрія къ факту, — улыбочка эта легко примиряла съ неизбѣжнымъ, вынужденнымъ сентиментализмомъ «пасхальной» и «рождественской» литературы.

¹⁾ Весьма вѣроятно, что въ ту пору я думалъ не акъ, какъ ивображаю теперь, но старыя мои мысли — неинтересно вспоминать.

Я написал автору нѣсколько строкъ по поводу разсказа и получилъ отъ Л. Андреева забавный отвѣтъ; — оригинальнымъ почеркомъ, полупечатными буквами онъ писалъ веселыя, смѣшныя слова и среди нихъ особенно подчеркнуто выдѣлился незатѣйливый, но скептической афоризмъ:

«Сытому быть великодушнымъ столь же приятно, какъ пить кофе послѣ обѣда».

Съ этого началось мое заочное знакомство съ Леонидомъ Николаевичемъ Андреевымъ. Лѣтомъ я прочиталъ еще нѣсколько маленькихъ разсказовъ его и фельетоновъ Джемса Линчъ, наблюдая, какъ быстро и смѣло развивается своеобразный талантъ новаго писателя.

Осенью, проѣздомъ въ Крымъ, въ Москвѣ, на Курскомъ вокзалѣ, кто-то познакомилъ меня съ Л. Андреевымъ. Одѣтый въ старенькое пальто-тулупчикъ, въ мохнатой бараньей шапкѣ набекрень, онъ напоминалъ молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мнѣ малоподвижнымъ, но пристальный взглядъ темныхъ глазъ свѣтился той улыбкой, которая такъ хорошо сіяла въ его разсказахъ и фельетонахъ. Не помню его словъ, но они были необычны, и необыченъ былъ строй возбужденной рѣчи. Говорилъ онъ торопливо, глуховатымъ, бухающимъ голосомъ, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировалъ. Мнѣ показалось, что это здоровый, незѣмно веселый человѣкъ, способный жить, посмѣиваясь надъ невзгодами бытія. Его возбужденіе было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил онъ, пожимая мою руку.

Я тоже былъ радостно возбужденъ.

* * *

Зимою, на пути изъ Крыма въ Нижній, я остановился въ Москвѣ, и тамъ наши отношенія быстро приняли характеръ сердечной дружбы.

Я видѣлъ, что этотъ человѣкъ плохо знаетъ дѣйствительность, мало интересуется ею, — тѣмъ болѣе удивлялъ онъ меня силой своей интуиціи, плодovitостью фантазіи, цѣпкостью воображенія. Достаточно было одной фразы, а иногда — только мѣткого слова, чтобы онъ, схвативъ ничтожное данное ему, тотчасъ развилъ его въ картину, анекдотъ, характеръ, разсказъ.

— Что такое С.? — спрашиваетъ онъ объ одномъ литераторѣ, довольно популярномъ въ ту пору.

— Тигръ изъ мѣхового магазина.

Онъ смѣется и, понизивъ голосъ, точно сообщая тайну, торопливо говоритъ:

— А — знаете — надо написать человѣка, который убѣдилъ себя, что онъ — герой, эдакій разрушитель всего сущаго и даже самъ себя страшень, — вотъ какъ! Всѣ ему вѣрятъ, — такъ хорошо онъ обманулъ самъ себя. Но гдѣ-то въ своемъ уголкѣ, — въ настоящей жизни, онъ — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словомъ на стержень гибкой мысли, онъ легко и весело создавалъ всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросилъ его: какъ это случилось?

— Экивокъ юношескаго романтизма — отвѣтилъ онъ. — Вы сами знаете, — человѣкъ, который не пробовалъ убить себя, — дешево стоитъ.

Онъ сѣлъ на диванъ вплоть ко мнѣ и прекрасно разсказалъ о томъ, какъ однажды, будучи подросткомъ, бросился подъ товарный поѣздъ, но, къ счастью, угодилъ вдоль рельсъ, и поѣздъ промчался надъ нимъ, только оглушивъ его.

Въ разсказѣ было что-то неясное, недѣйствительное, но онъ украсилъ его изумительно яркимъ описаніемъ ощущеній человѣка, надъ которымъ съ желѣзнымъ грохотомъ двигаются тысячепудовыя тяжести. Это было знакомо и мнѣ, — мальчишкой лѣтъ десяти я ложился подъ балластный поѣздъ, соперничая въ смѣлости съ товарищами, — одинъ изъ нихъ, сынъ стрѣлочника, дѣлалъ это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поѣздъ идетъ на подъемъ, а не подъ уклонъ, — тогда сцѣпленія вагоновъ туго натянуты и не могутъ ударить васъ или, зацѣпивъ, потащить по шпаламъ. Нѣсколько секундъ переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть къ землѣ насколько возможно плотнѣе и едва побѣждая напряженіемъ всей воли страстное желаніе пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что

потокъ желѣза и дерева, проносясь надъ тобою, отрываетъ тебя отъ земли, хочеть увлечь куда-то, а грохотъ и скрежетъ желѣза раздается какъ будто въ костяхъ у тебя. Потомъ, когда поѣздъ пройдетъ, съ минуту и болѣе лежишь на землѣ, не въ силахъ подняться, кажется, что ты плывешь вслѣдъ поѣзда, а тѣло твое какъ будто бесконечно вытягивается, растеть, становится легкимъ, воздушнымъ и — вотъ сейчасъ полетишь надъ землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло насъ къ такой нелѣпой забавѣ?
— спросилъ Л. Н.

Я сказалъ, что, можетъ быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движенію огромныхъ массъ сознательную неподвижность ничтожнаго нашего тѣла.

— Нѣтъ, — возразилъ онъ, — это слишкомъ мудрено, не по-дѣтски.

Напомнивъ ему, какъ дѣти «мнутъ зыбку» — качаются на упругомъ льду только что замерзшаго пруда или затона рѣки, я сказалъ, что опасные забавы вообще нравятся дѣтямъ.

Онъ помолчалъ, закурилъ папиросу и, тотчасъ бросивъ ее, посмотрѣлъ прищуренными глазами въ темный уголъ комнаты.

— Нѣтъ, это, должно быть, не такъ. Почти всѣ дѣти боятся темноты... Кто-то сказалъ:

«Есть наслажденіе въ бою
И бевдны мрачной на краю».

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю какъ-то иначе, только не могу понять — какъ?

И вдругъ вострепнулся весь, какъ бы обожжень внутреннимъ огнемъ.

— Слѣдуетъ написать разсказъ о человѣкѣ, который всю жизнь, — безумно страдая, — искалъ истину, и вотъ она явилась предъ нимъ, но онъ закрылъ глаза, заткнулъ уши и сказалъ: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли въ душѣ ненависть къ тебѣ». Какъ вы думаете?

Мнѣ эта тема не понравилась; онъ вздохнулъ, говоря:

— Да, сначала нужно отвѣтить, гдѣ есть истина — въ человѣкѣ или внѣ его? По-вашему — въ человѣкѣ?

И засмѣялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно...

* * *

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы съ Л. Н. смотрѣли бы одинаково, но безчисленные разнорѣчія не мѣшали намъ — цѣлые годы — относиться другъ къ другу съ тѣмъ напряженіемъ интереса и вниманія, которое не часто является результатомъ долготной дружбы. Бесѣдовали мы неумоимо, помню — однажды просидѣли непрерывно болѣе двадцати часовъ, выпивъ нѣсколько самоваровъ чая, — Леонидъ поглощалъ его въ неимоверномъ количествѣ.

Онъ былъ удивительно интересный собесѣдникъ, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремленіе заглядывать въ наиболѣе темные углы души, но — легкая, ка-

призно своеобразная, она свободно отливалась въ формы юмора и гротеска. Въ товарищеской бесѣдѣ онъ умѣлъ пользоваться юморомъ гибко и красиво, но въ разсказахъ терялъ — къ сожалѣнію — эту способность, рѣдкую для русскаго.

Обладая фантазіей живой и чуткой, онъ былъ лѣнивѣе; гораздо больше любилъ говорить о литературѣ, чѣмъ дѣлать ее. Ему было почти недоступно наслажденіе ночной подвижнической работы въ тишинѣ и одиночествѣ надъ бѣлымъ, чистымъ листомъ бумаги; онъ плохо цѣнилъ радость покрывать этотъ листъ узоромъ словъ.

— Пишу я трудно, — сознавался онъ. — Перья кажутся мнѣ неудобными, процессъ письма — слишкомъ медленнымъ и даже унижающимъ. Мысли у меня мечутся точно галки на пожарѣ, я скоро устаю ловить ихъ и строить въ необходимый порядокъ. И бываетъ такъ: я написалъ слово — паутина, вдругъ, почему-то, вспоминается геометрія, алгебра и учитель Орловской гимназіи — человѣкъ, разумѣется, — тупой. Онъ часто вспоминалъ слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшіе люди міра мучительно безпокойны. Къ чорту спокойную мудрость! А что же на ея мѣсто? Красоту? Да здравствуетъ! Однако, хотя я не видѣлъ Венеру въ оригиналѣ, — на снимкахъ она кажется мнѣ довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда нѣсколько глуповато, напримѣръ — павлинъ, борзая собака, женщина.

* * *

*

Казалось бы, что онъ, равнодушный къ фактамъ дѣйствительности, скептикъ въ отношеніи къ разуму и волѣ человѣка, — не долженъ былъ увлекаться дидактикой, учительствомъ, неизбѣжнымъ для того, кому дѣйствительность знакома — излишне хорошо. Но первыя же наши бесѣды ясно указывали, что этотъ человѣкъ, обладая всѣми свойствами превосходнаго художника, — хочетъ встать въ позу мыслителя и философа. Это казалось мнѣ опаснымъ, почти безнадежнымъ, главнымъ образомъ потому, что запасъ его знаній былъ странно бѣденъ. И всегда чувствовалось, что онъ какъ бы ощущаетъ около себя невидимаго врага, — напряженно спорить съ кѣмъ-то, хочетъ кого-то побороть.

Читать Л. Н. не любилъ и, самъ являясь дѣлателемъ книги — творцомъ чуда, — относился къ старымъ книгамъ недоувѣрчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетишъ, какъ для дикаря, — говорилъ онъ мнѣ. — Это потому, что ты не протираешь своихъ штановъ на скамьяхъ гимназіи, не соприкасался наукѣ университетской. А для меня Иліада, Пушкинъ и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе отъ ума» — скучно такъ же, какъ задачникъ Евтушевскаго. «Капитанская дочка» надоѣла, какъ барышня съ Тверского бульвара.

Я слишкомъ часто слышалъ эти обычные слова о влияніи школы на отношеніе къ литературѣ, и они давно уже звучали для меня неубѣдительно, — въ нихъ чувствовался предрассудокъ, рожденный рус-

ской лѣнью. Гораздо болѣе индивидуально рисоваль Л. Андреевъ, какъ рецензіи и критическіе очерки газетъ мнутъ и портятъ книги, говоря о нихъ языкомъ хроники уличныхъ происшествій.

— Это — мельницы, они перемалываютъ Шекспира, Библию — все, что хочешь, — въ пыль пошлости. Однажды я читалъ газетную статью о Донъ-Кихотѣ и вдругъ съ ужасомъ вижу, что Донъ-Кихотъ — знакомый мнѣ старичокъ, управляющій Казенной Палатой, у него былъ хроническій насморкъ и любовница, дѣвушка изъ кондитерской, онъ называлъ ее — Милли, а въ дѣйствительности — на бульварахъ — ее звали Сонька Пузырь...

Но относясь къ знанію и книгѣ беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, онъ постоянно и живо интересовался тѣмъ, что я читаю. Однажды, увидавъ у меня въ комнатѣ «Московской гостиницы» книгу Алексѣя Остроумова о Синезіи, епископѣ Птолемаиды, спросилъ удивленно:

— Это зачѣмъ тебѣ?

Я рассказалъ ему о странномъ епископѣ-полужычникѣ и прочиталъ нѣсколько строкъ изъ его сочиненія «Похвала плѣшивости». «Что можетъ быть плѣшивѣе, что божественнѣе сферы?»

Это патетическое восклицаніе потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадокъ бѣшеннаго смѣха, но тотчасъ же, стирая слезы съ глазъ и всё еще улыбаясь, онъ сказалъ:

— Знаешь, — это превосходная тема для разсказа о невѣрующемъ, который, желая испытать глупость вѣрующихъ, надѣваетъ на себя маску свя-

тости, живетъ подвижникомъ, проповѣдуетъ новое ученіе о Богѣ — очень глупое, — добивается любви и поклоненія тысячъ, а потомъ говорить ученикамъ и послѣдователямъ своимъ: «Всѣ это — чепуха». Но для нихъ вѣра необходима, и они убиваютъ его.

Я былъ пораженъ его словами; дѣло въ томъ, что у Синезія есть такая мысль:

«Если бы мнѣ сказали, что епископъ долженъ раздѣлять мнѣнія народа, то я открылъ бы предъ всѣми, кто я есть. Ибо что можетъ быть общаго между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народъ же имѣетъ нужду въ другомъ».

Но эту мысль я не сообщилъ Андрееву и не успѣлъ сказать ему о необычной позиціи некрещеннаго язычника-философа въ роли епископа христіанской церкви. Когда же я сказалъ ему объ этомъ, онъ, торжествуя и смѣясь, воскликнулъ:

— «Вотъ видишь, — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать».



Леонидъ Николаевичъ былъ талантливъ по природѣ своей, органически талантливъ, его интуиція была изумительно чутка. Во всемъ, что касалось темныхъ сторонъ жизни, противорѣчій въ душѣ человѣка, броженій въ области инстинктовъ, — онъ былъ жутко догадливъ. Примѣръ съ епископомъ Синезіемъ — не единиченъ, я могу привести десятокъ подобныхъ.

Такъ, бесѣдуя съ нимъ о различныхъ искателяхъ незыблемой вѣры, я рассказалъ ему содержаніе рукописной «Исповѣди» священника Аполлова, — объ одномъ изъ произведеній безвѣстныхъ мучениковъ мысли, которые вызвали къ жизни «Исповѣдь» Льва Толстого. Рассказывалъ о моихъ личныхъ наблюденіяхъ надъ людьми догмата, — они часто являются добровольными плѣнниками слѣпой, жесткой вѣры и тѣмъ болѣе фактически защищаютъ истинность ея, чѣмъ мучительнѣе сомнѣваются въ ней.

Андреевъ задумался, медленно помѣшывая ложкой въ стаканѣ чая, потомъ сказалъ, усмѣхаясь:

— Странно мнѣ, что ты понимаешь это, — говоришь ты какъ атеистъ, а думаешь какъ вѣрующіе. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камнѣ могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, онъ тайно издѣвался надъ немощью его».

А черезъ двѣ-три минуты, наваливаясь на меня плечомъ, заглядывая въ глаза мнѣ расширенными зрачками темныхъ глазъ, говорилъ вполголоса:

— Я напишу о попѣ, увидишь! Это, братъ, я хорошо напишу!

И, грозя пальцемъ кому-то, крѣпко потирая високъ, улыбался.

— Завтра ѣду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей онъ былъ одинокъ, ибо соприкасался великой тайнѣ»...

На другой же день онъ уѣхалъ въ Москву, а черезъ недѣлю — не болѣе — писалъ мнѣ, что работаетъ надъ попомъ, и работа идетъ легко, «какъ на лыжахъ». Такъ всегда онъ хваталъ на

лету всё, что отвѣчало потребности его духа въ соприкосновеніи къ наиболѣе острымъ и мучительнымъ тайнамъ жизни.

* * *

Шумный успѣхъ первой книги насытилъ его молодой радостью. Онъ пріѣхалъ въ Нижній ко мнѣ веселый, въ новенькомъ костюмѣ табачнаго цвѣта, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски-пестрымъ галстукомъ, а на ногахъ — желтые ботинки.

— Искалъ палевыя перчатки, но какая-то леди въ магазинѣ на Кузнецкомъ напугала меня, что палевыя уже не въ модѣ. Подозрѣваю, что она — соврала, навѣрное дорожитъ свободой сердца своего и боялась убѣдиться, сколь я неотразимъ въ палевыхъ перчаткахъ. Но по секрету скажу тебѣ, что всё это великолѣпіе — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдругъ, обнявъ меня за плечи, сказалъ:

— Знаешь — мнѣ хочется гимнъ написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимнъ! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — боммъ!

Я пошутилъ надъ нимъ.

— Что же! — весело воскликнулъ онъ. — Вѣдь у Екклесіаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя тамъ что-то не такъ, а—о львѣ и собакѣ: «Въ домашнемъ обиходѣ плохая собака полезнѣе хорошаго льва». А — какъ ты думаешь: Іовъ могъ читать книгу Екклесіаста?

Упоенный виномъ радости, онъ мечталъ о поѣздкѣ по Волгѣ на хорошемъ пароходѣ, о путешествіи пѣшкомъ по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя въ этихъ кирпичахъ, — говорилъ онъ, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучіе ребенка, который слишкомъ долго голодалъ, а теперь думаетъ, что навсегда сытъ.

Сидѣли на широкомъ диванѣ въ маленькой комнатѣ, пили красное вино, Андреевъ взялъ съ полки тетрадь стиховъ:

— Можно?

И сталъ читать вслухъ:

«Мѣдныхъ сосенъ колонны,
Моря звонъ монотонный».

Это Крымъ? А вотъ я не умѣю писать стихи, да и желанія нѣтъ. Я больше всего люблю баллады, вообще:

«Я люблю все то, что ново,
Романтично, безтолково,
Какъ поэтъ
Прежнихъ лѣтъ».

Это поють въ опереткѣ — «Зеленый островъ», кажется.

«И вдыхаютъ деревья,
Какъ безъ риѣмы стихи».

Это мнѣ нравится. Но — скажи — зачѣмъ ты пишешь стихи? Это такъ не идетъ къ тебѣ. Все-таки стихи — искусственное дѣло, какъ хочешь.

Потомъ сочиняли пародіи на Скитальца:

«Возьму я большое полѣно
Въ могучую руку мою
И всѣхъ — до седьмого колѣна —
Я васъ перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Тррепещите! Я радъ. —
Кавбекомъ вамъ въ головы брошу,
Низвергну на васъ Арарать!»

Онъ хохоталъ, неистощимо придумывая милыя смѣшныя глупости, но вдругъ, наклонясь ко мнѣ, со стаканомъ вина въ рукѣ, заговорилъ не громко и серьезно:

— Недавно я прочиталъ забавный анекдотъ: въ какомъ-то англійскомъ городѣ стоитъ памятникъ Роберту Бёрнсу — поэту. Надписи на памятникѣ — кому онъ поставленъ, нѣтъ. У подножія его — мальчикъ, торгуетъ газетами. Подошелъ къ нему какой-то писатель и говорить: «Я куплю у тебя номеръ газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» «Роберта Бёрнса» — отвѣтилъ мальчикъ. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя всѣ твои газеты, но скажи мнѣ: за что поставили памятникъ Роберту Бёрнсу?» Мальчикъ отвѣтилъ: «За то, что онъ умеръ». Какъ это нравится тебѣ?

Мнѣ это не очень нравилось, — меня всегда тревожили рѣзкія и быстрыя колебанія настроеній Леонида.

* * *

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхомъ рубищѣ пѣвца», — онъ хотѣлъ ее много, жадно и не скрывалъ этого. Онъ говорилъ:

— Еще четырнадцать лѣтъ я сказалъ себѣ, что буду знаменитъ, или — не стоитъ жить. Я не боюсь сказать тебѣ, что все сдѣланное до меня не кажется мнѣ лучше того, что я самъ могу сдѣлать. Если ты сочтешь мои слова самонадѣянностью, ты — ошибешься. Нѣтъ, видишь ли, это должно быть основнымъ убѣжденіемъ каждаго, кто не хочетъ ставить себя въ безличные ряды миллионовъ людей. Именно убѣжденіе въ своей исключительности должно — и можетъ — служить источникомъ творческой силы. Сначала скажемъ самимъ себѣ: мы не таковы, какъ всѣ другіе, потомъ уже легко будетъ доказать это и всѣмъ другимъ.

— Однимъ словомъ, — ты ребенокъ, который не хочетъ питаться грудью кормилицы...

— Именно: я хочу молока только души моей. Человѣку необходимы любовь и вниманіе или — страхъ предъ нимъ. Это понимаютъ даже мужики, надѣвая на себя личины колдуновъ. Счастливы всѣхъ тѣ, кого любятъ со страхомъ, какъ любили Наполеона.

— Ты читалъ его «Записки»?

— Нѣтъ. Это — не нужно мнѣ.

Онъ подмигнулъ, усмѣхаясь:

— Я тоже веду дневникъ и знаю, какъ это дѣлается. Записки, исповѣди и все подобное — испражненія души, отравленной плохой пищей.

Онъ любилъ такія изреченія и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготѣніе къ пессимизму, въ немъ жило нѣчто неискоренимо дѣтское, — напимѣръ ребячливо

наивное хвастовство словесной ловкостью, которой онъ пользовался гораздо лучше въ бесѣдѣ, чѣмъ на бумагѣ.

Однажды я рассказывалъ ему о женщинѣ, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, такъ была озабочена убѣдить всѣхъ и каждого въ своей неприступности, что всѣ окружающіе ее, издыхая отъ тоски, или стремглавъ бѣжали прочь отъ сего образца добродѣтели, или же ненавидѣли ее до судорогъ.

Андреевъ слушалъ, смѣялся и вдругъ сказалъ:

— Я — женщина честная, мнѣ не къ чему ногти чистить — такъ?

Этими словами онъ почти совершенно точно опредѣлилъ характеръ и даже привычки человѣка, о которомъ я говорилъ, — женщина была небрежна къ себѣ. Я сказалъ ему это, онъ очень обрадовался и дѣтски-искренно сталъ хвастаться.

— Я, братъ, иногда самъ удивляюсь, до чего ловко и мѣтко умѣю двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнесъ длинную рѣчь въ похвалу себѣ. Но — умница — понялъ, что это немножко смѣшно и кончилъ свою тираду юмористическимъ шаржемъ.

— Со временемъ я такъ разовью мои геніальныя способности, что буду однимъ словомъ опредѣлять смыслъ цѣлой жизни человѣка, націи, эпохи...

Но все-таки критическое отношеніе къ самому себѣ у него было развито не особенно сильно, и это порою весьма портило его работу и жизнь.

* * *

Я думаю, что въ каждомъ изъ насъ живутъ и борются зародыши нѣсколькихъ личностей, — спорять между собою до поры, пока не разовьется въ борьбѣ зародышъ наиболѣе сильный или умѣющій наилучше приспособиться къ разнообразнымъ давлѣніямъ впечатлѣній, которыя формируютъ окончательный духовный обликъ человѣка, создавая изъ него болѣе или менѣе цѣлостную психическую особь.

Леонидъ Николаевичъ странно и мучительно рѣзко для себя раскалывался на-двое: — на одной и той же недѣлѣ онъ могъ пѣть міру — «Осанна!» и провозглашать ему — «Анаѳема!»

Это не было внѣшнимъ противорѣчіемъ между основами характера и навыками или требованіями профессіи, — нѣтъ, въ обоихъ случаяхъ онъ чувствовалъ одинаково искренно. И, чѣмъ болѣе громко онъ возгласилъ «Осанна!» — тѣмъ болѣе сильнымъ эхомъ раздавалась — «Анаѳема!»

Онъ говорилъ:

— Ненавижу субъектовъ, которые не ходятъ по солнечной сторонѣ улицы изъ боязни, что у нихъ загоритъ лицо или выцвѣтетъ пиджакъ, — ненавижу всѣхъ, кто изъ побужденій догматическихъ препятствуетъ свободной, капризной игрѣ своего внутренняго «я».

Однажды онъ написалъ довольно ѣдкій фельетонъ о людяхъ тѣневой стороны, а вслѣдъ за этимъ — по поводу смерти Эмиля Золя отъ угара —

хорошо полемизировалъ съ интеллигентски-варварскимъ аскетизмомъ, довольно обычнымъ въ ту пору. Но, бесѣдуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявилъ:

— А все-таки, знаешь, собесѣдникъ-то мой болѣе послѣдователенъ, чѣмъ я: писатель долженъ жить какъ бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелѣпость!

Онъ — не шутилъ. Мы поспорили, я утверждалъ: чѣмъ разнообразнѣе потребности человѣка, чѣмъ болѣе жаденъ онъ къ радостямъ жизни, — хотя бы и маленькимъ, тѣмъ быстрѣй развивается культура тѣла и духа. Онъ возражалъ: нѣтъ, правъ Толстой, культура — мусоръ, она только искажаетъ свободный ростъ души.

— «Привязанность къ вещамъ» — говорилъ онъ — это фетишизмъ дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себѣ кумира, иначе ты погань, — вотъ истина! Сегодня сдѣлай книгу, завтра — машину, вчера ты сдѣлалъ сапогъ и уже забылъ о немъ. Намъ нужно учиться забывать.

А я говорилъ: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощеніе духа человѣческаго, и часто внутренняя цѣнность вещи значительнѣе человѣка.

— Это поклоненіе мертвой матеріи, — кричалъ онъ.

— Въ ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своимъ بسیліемъ...

Спорили мы все чаще, все напряженнѣе. Наиболѣе острымъ пунктомъ нашихъ разногласій было отношеніе къ мысли.

Для меня — мысль источникъ всего сущаго, изъ мысли возникло всё видимое и чувствуемое чело-вѣкомъ; даже въ сознаниіи своего безсилія разрѣ-шить «проклятые вопросы» мысль величественна и благородна.

Я чувствую себя живущимъ въ атмосферѣ мысли и, видя, какъ много создано ею великаго и величественнаго, — вѣрю, что ея безсиліе — временно. Можетъ быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это такъ естественно въ Россіи, гдѣ нѣтъ духовнаго синтеза, въ странѣ язычески чувственной, чудовищно жестокой.

Леонидъ Николаевичъ воспринималъ мысль какъ «злую шутку дьявола надъ чело-вѣкомъ»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая чело-вѣка къ пропастямъ необъяснимыхъ тайнъ, она обманываетъ его, оставляя въ мучительномъ и без-сильномъ одиночествѣ предъ тайнами, а сама — гаснетъ.

Столь же непримиримо расходились во взгля-дахъ на чело-вѣка, источникъ мысли, горнило ея. Для меня чело-вѣкъ всегда побѣдитель, даже и смертельно раненый, умирающій. Прекрасно его стремленіе къ самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна, — онъ всё болѣе расширяетъ предѣлы ея, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовалъ, что искренно и дѣйствительно люблю чело-вѣка — и того, который сейчасъ живетъ и дѣйствуетъ ря-домъ со мною, и того, умнаго, добраго, сильнаго, который явится когда-то въ будущемъ. Андрееву чело-вѣкъ представлялся духовно нищимъ; сплетен-

ный изъ непримиримыхъ противорѣчій инстинкта и интеллекта, онъ навсегда лишень возможности достигъ какой-либо внутренней гармоніи. Всѣ дѣла его «суета суетъ», тлѣнъ и самообманъ. А главное, онъ — рабъ смерти и всю жизнь ходить на цѣпи ея.

* * *

Очень трудно говорить о человѣкѣ, котораго хорошо чувствуешь.

Это звучитъ какъ парадоксъ, но — это правда: когда таинственный трепеть горѣнія чужого «я» ощущается тобою, волнуешь тебя, — боишься дотронуться кривымъ тяжелымъ словомъ твоимъ до невидимыхъ лучей дорогой тебѣ души, боишься сказать не то, не такъ: не хочешь исказить чувствуемое, и почти неуловимое словомъ, не рѣшаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человѣчески-цѣнное въ твою тѣсную рѣчь.

Гораздо легче и проще рассказывать о томъ, что чувствуешь недостаточно ясно, — въ этихъ случаяхъ многое — и даже все, что ты хочешь — можно добавить отъ себя.

Я думаю, что хорошо чувствовалъ Л. Н. Андреева: точнѣе говоря — я видѣлъ, какъ онъ ходитъ по той тропинкѣ, которая повисла надъ обрывомъ въ трясину безумія, надъ пропастью, куда заглядывая, зрѣніе разума угасаетъ.

Велика была сила его фантазіи, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное вниманіе къ оскорбительной тайнѣ смерти, онъ ничего не могъ

представить себѣ по ту сторону ея, ничего величественнаго или утѣшительнаго, — онѣ былъ, все-таки, слишкомъ реалистъ для того, чтобы выдумать утѣшеніе себѣ, хотя и желая его.

Это его хожденіе по тропѣ надъ пустотой и разъединяло насъ всего болѣе. Я пережилъ настроеніе Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человѣчьей, мнѣ стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти. Въ свое время я сказалъ себѣ: пока то, что чувствуетъ и мыслить во мнѣ — живо, смерть не смѣетъ коснуться этой силы.

Однажды я рассказалъ Леониду о томъ, какъ мнѣ довелось пережить тяжкое время «мечтаній узника о бытіи за предѣлами его тюрьмы, о «каменной тѣмѣ» и «неподвижности, уравновѣшенной на вѣки», — онѣ вскочилъ съ дивана и бѣгая по комнатѣ, дирижируя искалѣченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорилъ:

— Это, братъ, трусость, — закрыть книгу, не дочитатьъ ее до конца! Вѣдь въ книгѣ — твой обвинительный актъ, въ ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицаютъ со всѣмъ, что въ тебѣ есть — съ гуманизмомъ, социализмомъ, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книгѣ? Это смѣшно и жалко: тебя приговорили къ смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорбленъ этимъ, — цвѣточками любишься, обманывая себя и другихъ, — глупенькіе цвѣточки!..

Я указывалъ ему на нѣкоторую бесполезность протестовъ противъ землетрясенія, убѣждалъ, что

протесты никакъ не могутъ повліять на судороги земной коры — все это только сердило его.

Мы бесѣдовали въ Петербургѣ, осенью, въ пустой, скучной комнатѣ пятого этажа. Городъ былъ облеченъ густымъ туманомъ, въ сѣрой массѣ тумана недвижимо висѣли, радужные, призрачные шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана, къ намъ поднимались со дна улицы нелѣпые звуки, — особенно надоѣдливо чмокали по торцамъ мостовой копыта лошадей.

Леонидъ всталъ у окна, спиною ко мнѣ, — я очень чувствовалъ, что въ эту минуту онъ ненавидитъ меня, какъ человѣка, который ходитъ по землѣ легче и свободнѣе его, потому что сбросилъ съ плечъ своихъ унижительную и ненужную ему ношу.

Я и раньше чувствовалъ въ немъ острые приливы злости на меня, но — не скажу, чтобъ это обижало, — хотя и тревожило; я понималъ — по своему, конечно — источникъ злости, видя, какъ тяжело живетъ этотъ рѣдко талантливый человѣкъ, милый мнѣ и — въ ту пору — близкій другъ.

Тамъ, внизу, со звономъ промчалась пожарная команда. Леонидъ подошелъ ко мнѣ, свалился на диванъ и предложилъ:

— Ъдемъ смотрѣть пожаръ?

— Въ Петербургѣ пожары не интересны.

Онъ согласился:

— Вѣрно. А, вотъ, въ провинціи, гдѣ-нибудь въ Орлѣ, когда горять деревянные улицы и ме-

чутся — какъ — моль — мѣщане — хорошо! — И — голуби надъ тучей дыма — видѣль ты?

Обнявъ меня за плечи, онъ сказалъ, усмѣхаясь:

— Ты — все видѣль, чортъ тебя возьми!

И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота! Узника понимаешь...

И — бодая меня головою въ бокъ:

— Иногда я тебя за это ненавижу, какъ любимую женщину, которая умнѣе меня.

Я сказалъ, что чувствую это и что, минуту назадъ, онъ тоже ненавидѣль.

— Да, — подтвердилъ онъ, укладывая голову на колѣни мнѣ. — Знаешь — почему? Хочется, чтобъ ты болѣлъ моей болью, — тогда мы были бы ближе другъ другу, — ты, вѣдь, знаешь, какъ я одинокъ!

Да, онъ былъ очень одинокъ, но, порою, мнѣ казалось, что онъ ревниво оберегаетъ одиночество свое, оно дорого ему, какъ источникъ его фантастическихъ вдохновеній и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяетъ научная мысль, — говорилъ онъ, глядя въ потолокъ угрюмо темнымъ взглядомъ испуганныхъ глазъ.

— Наука, братъ, тоже мистика фактовъ: никто ничего не знаетъ — вотъ истина. А вопросы — какъ я думаю и зачѣмъ я думаю, источникъ главнѣйшей муки людей, — это самая страшная истина! Ёдемъ куда-нибудь, пожалуйста...

Когда онъ касался вопроса о механизмѣ мышления, — это всего болѣе волновало его. И — пугало.

Одѣлись, спустились въ туманъ и часа два плавали въ немъ по Невскому, какъ сомы по дну илистой рѣки. Потомъ сидѣли въ какой-то кофейнѣ, къ намъ неотвязно пристали три дѣвушки, одна изъ нихъ стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нея было каменное, она смотрѣла на Андреева большими, сѣрыми, безъ блеска, глазами съ жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликеръ. Отъ него исходилъ запахъ жженой кожи.

Леонидъ пилъ коньякъ, быстро захмелѣлъ, сталъ буйно остроуменъ, смѣшилъ дѣвицъ неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконецъ, рѣшилъ ѣхать на квартиру къ дѣвицамъ, — онѣ очень настаивали на этомъ. Отпускать Леонида было невозможно, — когда онъ начиналъ пить, въ немъ просыпалось нѣчто жуткое, мстительная потребность разрушенія, какая-то ненависть «плѣнннаго звѣря».

Я отправился съ нимъ, купили вина, фрукты, конфектъ, и, гдѣ-то на Разъѣзжей улицѣ, въ углу грязнаго двора, заваленнаго бочками и дровами, во второмъ этажѣ деревяннаго флигеля, въ двухъ маленькихъ комнатахъ, среди стѣнъ, убого и жалобно украшенныхъ открытками, — стали пить.

Передъ тѣмъ, какъ напиться до потери сознанія, Леонидъ опасно и удивительно возбуждался, его мозгъ буйно вскипалъ, фантазія разгоралась, рѣчь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна изъ дѣвушекъ, круглая, мягкая и ловкая, какъ мышь, почти съ восхищеніемъ рассказала

намъ, какъ товарищъ прокурора укусилъ ей ногу выше колѣна, — она, видимо, считала поступокъ юриста самымъ значительнымъ событіемъ своей жизни, показывала шрамъ отъ укуса и, захлебываясь волненіемъ, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Онъ такъ любилъ меня, — даже вспомнить страшно! Укусилъ, знаете, а — у него зубъ вставленъ былъ, — и остался въ кожѣ у меня!

Эта дѣвушка, быстро опьянѣвъ, свалилась въ углу на кушетку и заснула, всхрипывая. Пышнотѣлая, густоволосая шатенка съ глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитарѣ, а Эльфрида аккуратно раздѣлась до-нага, составила на полъ бутылки и тарелки, вскочила на столъ и плясала, молча, по змѣиному изгибаясь, не сводя глазъ съ Леонида. Потомъ она запѣла неприятно густымъ голосомъ, сердито расширивъ глаза, порой, точно переломленная, наклонялась къ Андрееву, онъ цѣловалъ ей колѣни, выкрикивая подхваченные имъ слова чужой пѣсни, страннаго языка и толкалъ меня локтемъ, говоря:

— Она что-то понимаетъ, смотри на нее, видишь? Понимаетъ!

Моментами, возбужденные глаза Леонида какъ будто слѣпли; становясь еще темнѣе, они какъ бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянувшись, открывъ ротъ и глядя ладонями маленькія груди, острия какъ у козы.

Леонидъ говорилъ:

— Высшее и глубочайшее ощущение въ жизни, доступное намъ — судорога полового акта, — да, да! И, можетъ быть, земля, какъ вотъ эта сука, мечется въ пустынь вселенной, ожидая, чтобъ я оплодотворилъ ее пониманіемъ цѣли бытія, а самъ я, со всѣмъ чудеснымъ во мнѣ, — только сперматозоидъ.

Я предложилъ ему идти домой.

— Иди, я останусь здѣсь...

Оставить его я не могъ, — онъ былъ уже сильно пьянъ и съ нимъ было много денегъ. Онъ сѣлъ на кровать, поглаживая стройныя ноги дѣвушки и забавно сталъ говорить, что любитъ ее, а она неотрывно смотрѣла въ лицо ему, закинувъ руки за голову.

— Когда баронъ отвѣдаетъ рѣдки, у него вырастаютъ крылья, — говорилъ Леонидъ.

— Нѣтъ. Это не правда, — серьезно сказала дѣвушка.

— Я тебѣ говорю, что она понимаетъ что-то! — закричалъ Леонидъ въ пьяной радости. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ изъ комнаты, — я далъ дѣвицѣ денегъ и попросилъ ее, уговорить Леонида, ѣхать кататься. Она сразу согласилась и, вскочивъ, начала быстро одѣваться.

— Я боюсь его. Такіе стрѣляютъ изъ пистолетовъ, — бормотала она.

Дѣвица, игравшая на гитарѣ, уснула, сидя на полу около кушетки, гдѣ, всхрапывая, спала ея подруга.

Эстонка была уже одѣта, когда возвратился Леонидъ; онъ началъ бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будетъ пиръ плоти!

И попытался снова раздѣть дѣвушку, но, отбиваясь, она такъ упрямо смотрѣла въ глаза ему, что взглядъ ея укротилъ Леонида, онъ согласился:

— Ёдемъ!

Но захотѣлъ одѣть дамскую шляпу à la Рембрандтъ и уже сорвалъ съ нея всѣ перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — дѣловито спросила дѣвица.

Леонидъ поднялъ брови и захохоталъ, крича:

— Дѣло — въ шляпѣ! Ура!

На улицѣ мы наняли извозчика и поѣхали сквозь туманъ. Было еще не поздно, едва за полночь. Невскій, въ огромныхъ бусахъ фонарей, казался дорогой куда-то внизъ, въ глубину, вокругъ фонарей мелькали мокрая пылинки, въ сѣрой сырости плавали черныя рыбы, стоя на хвостахъ, полушарія зонтиковъ, казалось, поднимаютъ людей вверхъ, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухѣ Андреевъ совершенно опьянѣлъ, задремалъ, покачиваясь, дѣвица шепнула мнѣ:

— Я слѣзу, да?

И, прыгнувъ съ колѣнъ моихъ въ жидкую грязь улицы, исчезла.

Въ концѣ Каменноостровскаго проспекта Леонидъ спросилъ, испуганно открывъ глаза:

— Ёдемъ? Я хочу въ кабакъ. Ты прогналъ эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушелъ изъ комнаты, чтобы посмотрѣть, что ты будешь дѣлать, стоялъ за дверью и слышалъ, какъ ты уговаривалъ ее. Ты велъ себя невинно и благо-родно. Ты вообще нехорошій человекъ, пьешь много, а не пьянѣешь, отъ этого дѣти твои будутъ алкоголиками. Мой отецъ тоже много пилъ и не пьянѣлъ, а я — алкоголикъ.

Потомъ мы сидѣли на «Стрѣлкѣ» подъ дурацкимъ пузыремъ тумана, курили и, когда вспыхивалъ огонекъ папирось, — видно было, какъ сѣдѣютъ наши пальто, покрываясь тусклымъ бисеромъ сырости.

Леонидъ говорилъ съ неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьянаго, — его умъ почти не пьянѣлъ до момента, пока ядъ алкоголя совершенно прекращалъ работу мозга.

— Да, ты много сдѣлалъ и дѣлаешь для меня, вотъ и сегодня тоже, — я понимаю. Если бы я остался съ дѣвками, это кончилось бы плохо для кого-то. Все такъ. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мѣшаешь мнѣ быть самимъ собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, можетъ быть, обручъ на бочкѣ, уйдешь и — бочка разсыплется, но — пускай разсыплется — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Можетъ быть истинный смыслъ жизни именно въ разрушеніи чего-то, чего мы не знаемъ — или — всего, что придумано и сдѣлано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались въ сѣрую массу вокругъ его и надъ нимъ, иногда онъ ихъ

опускалъ къ землѣ, мокрой, усыпанной листьями, и топалъ ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, — что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей вѣры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что всѣ силы жизни исходятъ отъ нарушенія равновѣсія, а самъ ищешь именно равновѣсія, какой-то гармоніи и меня толкаешь на это, тогда какъ — по твоему же — равновѣсіе — смерть!

Я возражалъ: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мнѣ дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебѣ пріятна только моя работа, — мое внѣшнее, — а не самъ я, не то, чего я не могу воплотить въ работѣ. Ты мѣшаешь мнѣ и всѣмъ, иди въ болото!

Навалился на плечо мнѣ и, съ улыбкой заглядывая въ лицо, продолжалъ:

— Ты думаешь, я пьянъ и не понимаю, что говорю чепуху? Нѣтъ, я просто хочу разозлить тебя. Ты — рѣдкій товарищъ, я знаю, и ты дурачки безкорыстенъ, а я — позеръ, какъ нищій, который показываетъ язвы свои, выпрашивая милостыню вниманія.

Это онъ говорилъ не впервые, и въ этомъ я чувствовалъ долю правды, то-есть — хорошо придуманное имъ объясненіе нѣкоторыхъ особенностей своего характера.

— Я, братъ, декадентъ, выродокъ, больной человекъ. Но Достоевскій былъ тоже больной, какъ всѣ великіе люди. Есть книжка, — не помню,

чья, — о гени и безуми, въ ней доказано, что гениальность — психическая болѣзнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читалъ ее, — я былъ бы проще. А теперь, я знаю, что почти гениаленъ, но не увѣренъ въ томъ, — достаточно ли безуменъ? Понимаешь, — я самъ себѣ представляюсь безумнымъ, чтобъ убѣдить себя въ своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмѣялся. Это показалось мнѣ плохо выдуманымъ и потому не правдивымъ.

Когда я сказалъ ему это, онъ тоже захохоталъ и вдругъ, гибкимъ движеніемъ души, акробатически ловко перескочилъ въ тонъ юмориста:

— А — гдѣ кабакъ, сіе мѣсто священнодѣйствій литературныхъ? Талантливые русскіе люди обязательно должны бесѣдовать въ кабакъ, — такова традиція, и безъ этого критики не признають таланта.

Сидѣли въ ночномъ трактирѣ извозчиковъ, въ сырой, дымной духотѣ: по грязной комнатѣ сердито и устало ходили сонные «человѣки», «математически» ругались пьяные, визжали страшныя проститутки, одна изъ нихъ, обнаживъ лѣвую грудь, — желтую, съ огромнымъ соскомъ коровы, — положила ее на тарелку и поднесла намъ, предлагая:

— Купите фунтикъ?

— Люблю безстыдство, — говорилъ Леонидъ, — въ цинизмъ я ощущаю печаль, почти отчаяніе человѣка, который сознаетъ, что онъ не можетъ — понимаешь? — Не можетъ не быть животнымъ, хочетъ не быть, а не можетъ! Понимаешь?

Онъ пилъ крѣпкій, почти черный чай, я зналъ, что такъ нравится ему и это отрезвляетъ его, — я нарочно велѣлъ заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшія лица пьяницъ, Леонидъ непрерывно говорилъ:

— Съ бабами — я циниченъ. Такъ — правдивѣе, и онѣ это любятъ. Лучше быть законченнымъ грѣшникомъ, чѣмъ праведникомъ, который не можетъ домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчалъ и говоритъ:

— А здѣсь — скучно, какъ въ духовной консисторіи!

Это разсмѣшило его.

— Я никогда не былъ въ духовной консисторіи, въ ней должно быть что-то, похожее на рыбный садокъ...

Чай отрезвилъ его. Мы ушли изъ трактира. Туманъ сгустился, опаловые шары фонарей таяли какъ ледъ.

— Мнѣ хочется рыбы, — сказала Леонидъ, облокотясь на перила моста черезъ Неву, и оживленно продолжалъ: — Знаешь, какъ бываетъ со мной? Вѣроятно — такъ дѣти думаютъ, — наткнется на слово — рыба и подбираетъ созвучные ему: — рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вотъ стихи писать — не могу!

Подумавъ, онъ добавилъ:

— Такъ же думаютъ составители букварей...

Снова сидѣли въ трактирѣ, угощаясь рыбной солянкой, Леонидъ рассказывалъ, что его приглашаютъ «декаденты» сотрудничать въ «Вѣсахъ».

— Не пойду, не люблю ихъ. У нихъ за словами я не чувствую содержанія, они «опьяняются» словами, какъ любить говорить Бальмонтъ. Тоже — талантливъ и — больной.

Въ другой разъ, — помню, — онъ сказалъ о группѣ «Скорпіона»:

— Они насилуютъ Шопенгауэра, а я люблю его, и потому ненавижу ихъ.

Но это слишкомъ сильное слово въ его устахъ, — ненавидѣть, онъ не умѣлъ, былъ слишкомъ мягокъ для этого. Какъ-то показалъ мнѣ въ дневникѣ своемъ «слова ненависти», но — они оказались словами юмора и онъ самъ искренно смѣялся надъ ними.

Я отвезъ его въ гостиницу, — уложилъ спать, но, зайдя послѣ полудня, узналъ, что онъ, тотчасъ послѣ того какъ я ушелъ, всталъ, одѣлся и тоже исчезъ куда-то. Я искалъ его цѣлый день, но не нашель.

Онъ непрерывно пилъ четыре дня и потомъ уѣхалъ въ Москву.

* *
*

У него была непріятная манера испытывать искренность взаимныхъ отношеній людей; онъ дѣлалъ это такъ: неожиданно, между прочимъ, спрашиваетъ:

— Знаешь, что Z. сказалъ про тебя? — или сообщить:

— А S. говоритъ о тебѣ...

И темнымъ взглядомъ, испытывая, заглядываетъ въ глаза.

Однажды я сказала ему:

— Смотри, — такъ ты можешь перессорить всѣхъ товарищей!

— Ну, что же? — отвѣтилъ онъ. — Если ссорятся изъ-за пустяковъ, значить — отношенія были не искренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношеній. Надо, чтобъ каждый изъ насъ понималъ, какъ тонко кружево души, какъ нѣжно и бережливо слѣдуетъ относиться къ ней. Необходимъ нѣкоторый романтизмъ отношеній, въ кружкѣ Пушкина онъ былъ, и я этому завидую. Женщины чутки только къ эротикѣ, Евангеліе бабы — Декамеронъ.

Но черезъ полчаса онъ осмѣялъ свой отзывъ о женщинахъ, уморительно изобразивъ бесѣду эротомана съ гимназисткой.

Онъ не выносилъ Арцыбашева и порою съ грубой враждебностью высмѣивалъ его именно за одностороннее изображеніе женщины, какъ начала исключительно чувственнаго.

* * *

Однажды онъ мнѣ разсказалъ такую исторію: когда ему было лѣтъ одиннадцать, онъ увидаль

гдѣ-то въ рошѣ или въ саду, какъ дьяконъ цѣловался съ барышней.

— Они цѣловались и оба плакали, — говорилъ онъ — понизивъ голосъ и съживаясь; когда онъ рассказывалъ что-нибудь интимное, онъ напряженно сжималъ свою нѣсколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенныхъ ножкахъ, дьяконъ — толстый, ряса на животѣ засалена и лоснится. Я уже зналъ, зачѣмъ цѣлуются, но первый разъ видѣлъ, что цѣлуясь — плачутъ, и мнѣ было смѣшно. Борода дьякона зацѣпилась за крючки растегнутой кофты, онъ замоталъ головой, я свистнулъ, чтобы испугать ихъ, испугался самъ и — убѣжалъ. Но въ тотъ же день вечеромъ почувствовалъ себя влюбленнымъ въ дочь мирового судьи, дѣвчонку лѣтъ десяти, ощупалъ ее, грудей у нея не оказалось, значитъ цѣловать нечего, и она не годится для любви. Тогда я влюбился въ горничную сосѣдей, коротконогую, безъ бровей, съ большими грудями, — кофта ея на груди была такъ же засалена, какъ ряса на животѣ дьякона. Я очень рѣшительно приступилъ къ ней, а она меня рѣшительно оттрепала за ухо. Но это не помѣшало мнѣ любить ее, она казалась мнѣ красавицей и чѣмъ далѣе, тѣмъ больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видѣлъ много дѣвицъ дѣйствительно красивыхъ и умомъ хорошо понималъ, что возлюбленная моя — уродъ, сравнительно съ ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всѣхъ. Мнѣ было хорошо, потому, что я зналъ: никто не могъ бы любить такъ, какъ

умѣю я, бѣлобрысую, толстую дѣвку, никто, — понимаешь, — не сумѣлъ бы видѣть ее красивѣ всѣхъ красавицъ!

Онъ разсказаль это превосходно, насытивъ слова свои милымъ юморомъ, — который я не умѣю передать; — какъ жаль, что всегда хорошо владѣя имъ въ бесѣдѣ, онъ пренебрегалъ или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своихъ картинъ.

Когда я сказалъ: жаль, что онъ забылъ, какъ хорошо удалось ему сотворить изъ коротконогой горничной первую красавицу міра, что онъ не хочетъ больше извлекать изъ грязной руды дѣйствительнаго золотья жилы красоты, — онъ комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нѣтъ, я не намѣренъ баловать васъ, романтиковъ...

Невозможно было убѣдить его въ томъ, что именно онъ — романтикъ.

* *
*

На «Собраніи сочиненій», которое Леонидъ подарилъ мнѣ въ 1915 г., онъ написалъ:

«Начиная съ курьерскаго «Бергамота», здѣсь все писалось и прошло на твоихъ глазахъ, Алексѣй: во многомъ это — исторія нашихъ отношеній».

Это, къ сожалѣнію, вѣрно; къ сожалѣнію — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы онъ не вводилъ въ свои рассказы «исторію нашихъ отношеній». А онъ дѣлалъ это

слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнѣнія, портилъ этимъ свою обѣдню. И какъ будто именно въ мою личность онъ воплотилъ своего невидимаго врага.

— Я написалъ рассказъ, который навѣрное не понравится тебѣ, — сказалъ онъ однажды. — Прочитаемъ?

Прочитали. Рассказъ очень понравился мнѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорилъ онъ, расхаживая по комнатѣ, шаркая туфлями. Потомъ сѣлъ рядомъ со мною и, откинувъ свои волосы, заглянулъ въ глаза мнѣ.

— Вотъ, — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказъ. Но — я не понимаю, какъ можетъ онъ нравиться тебѣ?

— Мало ли на свѣтѣ вещей, которыя не нравятся мнѣ, однако, это не портитъ ихъ, какъ я вижу.

— Разсуждая такъ, нельзя быть революціонеромъ.

— Ты, что же, смотришь на революціонера глазами Нечаева — «революціонеръ — не человѣкъ»?

Онъ обнялъ меня, засмѣялся:

— Ты плохо понимаешь себя.

— Но — слушай, — вѣдь, когда я писалъ «Мысль», я думалъ о тебѣ; Алексѣй Савеловъ — это ты! Тамъ есть одна фраза: «Алексѣй не былъ талантливъ» — это, можетъ быть, нехорошо съ моей стороны, но ты своимъ упрямствомъ такъ раздражаешь меня иногда, что кажешься мнѣ не-талантливымъ. Это я нехорошо написалъ, да?

Онъ волновался, даже покраснѣлъ.

Я успокоилъ его, сказавъ, что не считаю себя арабскимъ конемъ, а — только — ломовой лошадыю; я знаю, что обязанъ успѣхами моими не столько природной талантливости, сколько умѣнью работать, любви къ труду.

— Странный ты человѣкъ, — тихо сказалъ онъ, прервавъ мои слова и вдругъ, отрѣшившись отъ пустяковъ, задумчиво началъ говорить о себѣ, о волненіяхъ души своей. Онъ не имѣлъ общерусской непріятной склонности исповѣдываться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себѣ съ откровенностью мужественной, даже нѣсколько жесткой, однако — не теряя самоуваженія. И это было пріятно въ немъ.

— Понимаешь, — говорилъ онъ — каждый разъ, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — съ души моей точно кора спадаетъ, я вижу себя яснѣе и вижу, что я талантливѣе написаннаго мной. Вотъ — «Мысль». Я ждалъ, что она поразитъ тебя, а теперь самъ вижу, что это, въ сущности, полемическое произведеніе, да еще не попавшее въ цѣль.

Вскочилъ на ноги и полушутя заявилъ, встряхнувъ волосами:

— Я боюсь тебя, злодѣй! Ты — сильнѣе меня, я не хочу поддаваться тебѣ.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватаетъ мнѣ, братъ. Чего-то очень важнаго, —а? Какъ ты думаешь?

Я думалъ, что онъ относится къ таланту своему непростительно небрежно, и что ему не хватаетъ знаній.

— Надо учиться, читать, надо ѣхать въ Европу...

Онъ махнулъ рукой.

— Не то. Надо найти себѣ Бога и повѣрить въ мудрость Его.

Какъ всегда, мы заспорили. Послѣ одного изъ такихъ споровъ онъ прислалъ мнѣ корректуру разсказа «Стѣна». А по поводу «Призраковъ» онъ сказалъ мнѣ:

— Безумный, который стучить, это — я, а дѣятельный Егоръ — ты. Тебѣ дѣйствительно присуще чувство увѣренности въ силѣ твоей, это и есть главный пунктъ твоего безумія и безумія всѣхъ подобныхъ тебѣ романтиковъ, идеализаторовъ разума, оторванныхъ мечтой своей отъ жизни.

* * *

Скверный шумъ, вызванный разсказомъ «Бездна», разстроилъ его. Люди, всегда готовые услужить улицѣ, начали писать объ Андреевѣ различныя гадости, доходя въ сочиненіи клеветы до комизма: такъ одинъ поэтъ напечаталъ въ харьковской газетѣ, что Андреевъ купался со своей невѣстой безъ костюмовъ. Леонидъ обиженно спрашивалъ:

— Что же онъ думаетъ, — во фракѣ, что ли, надо купаться? И вѣдь вретъ, не купался я ни съ невѣстой, ни соло, весь годъ не купался — негдѣ было. Знаешь, я рѣшилъ напечатать и расклеить по заборамъ покорнѣйшую просьбу къ читателямъ, — краткую просьбу:

«Будьте любезны, —
Не читайте „Бездны“!»

Онъ былъ чрезмѣрно, почти болѣзненно внимателенъ къ отзывамъ о его рассказахъ и всегда, съ грустью или съ раздраженіемъ, жаловался на варварскую грубость критиковъ и рецензентовъ, а однажды даже въ печати жаловался на враждебное отношеніе критики къ нему лично, какъ человѣку.

— Не надо этого дѣлать, — совѣтовали ему.

— Нѣтъ, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мнѣ отрѣжутъ или кипяткомъ ошпарятъ...

* * *

Его жестоко мучилъ наслѣдственный алкоголизмъ; болѣзнь проявлялась сравнительно рѣдко, но почти всегда въ формахъ очень тяжелыхъ. Онъ боролся съ нею, борьба стоила ему огромныхъ усилій, но порой, впадая въ отчаяніе, онъ осмѣивалъ эти усилія.

— Напишу рассказъ о человѣкѣ, который съ юности двадцать пять лѣтъ боялся выпить рюмку водки, потерялъ изъ-за этого множество прекрасныхъ часовъ жизни, испортилъ себѣ карьеру и умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, неудачно срѣзавъ себѣ моль или занозивъ себѣ палець.

И дѣйствительно, пріѣхавъ въ Нижній ко мнѣ, онъ привезъ съ собою рукопись рассказа на эту тему.

* * *

Въ Нижнемъ у меня Л. Н. встрѣтилъ отца Θεодора Владимірскаго, протоіерея города Арзамаса, а впослѣдствіи члена Второй Государственной Думы, — человѣка замѣчательнаго. Когда-нибудь я попробую написать его житіе, а пока нахожу необходимымъ кратко очертить главный подвигъ его жизни.

Городъ Арзамасъ чуть ли не со времени Ивана Грознаго пилъ воду изъ прудовъ, гдѣ лѣтомъ плавали трупы утопшихъ крысъ, кошекъ, куръ, собакъ, а зимою, подо льдомъ, вода протухала, приобрѣтая тошнотворный запахъ. И вотъ отецъ Θεодоръ, поставивъ себѣ цѣлью снабдить городъ здоровой водой, двѣнадцать лѣтъ самолично изслѣдовалъ почвенныя воды вокругъ Арзамаса. Изъ года въ годъ, каждое лѣто, онъ, на восходѣ солнца, бродилъ, точно колдунъ, по полямъ и лѣсамъ, наблюдая, гдѣ земля «прѣветъ». И послѣ долгихъ трудовъ нашель подземные ключи, прослѣдилъ ихъ теченіе, перекопаль, направилъ въ лѣсную ложбину за три версты отъ города и, получивъ на десять тысячъ жителей свыше сорока тысячъ ведеръ превосходной ключевой воды, предложилъ городу устроить водопроводъ. У города былъ капиталъ, завѣщанный однимъ купцомъ условно или на водопроводъ, или на организацію кредитнаго общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадяхъ изъ дальнихъ ключей за городомъ, въ водопроводѣ не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Θεодора, стремилось употребить капиталъ на основаніе кредитнаго общества, а мелкіе жители хлебали тухлую воду прудовъ.

довъ, оставаясь — по привычкѣ, издревле усвоенной ими — безучастны и бездѣтельны. Итакъ, найдя воду, отецъ Ѳеодоръ принужденъ былъ вести длительную и скучную борьбу съ упрямымъ своекорыстіемъ богатыхъ и подленькой глупостью бѣдняковъ.

Пріѣхавъ въ Арзамасъ подъ надзоръ полиціи, я засталъ его въ концѣ работы по собиранію источниковъ. Этотъ человѣкъ, истощенный каторжнымъ трудомъ и несчастіями, былъ первымъ арзамасцемъ, который рѣшился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретивъ земскимъ и другимъ служащимъ людямъ посѣщать меня, учредило, на страхъ имъ, полицейскій постъ прямо подъ окнами моей квартиры.

Отецъ Ѳеодоръ пришелъ ко мнѣ вечеромъ, подъ проливнымъ дождемъ, весь — съ головы до ногъ — мокрый, испачканный глиной, въ тяжелыхъ мужицкихъ сапогахъ, сѣромъ подрясникѣ и выцвѣтшей шляпѣ, — она до того размокла, что сдѣлалась похожей на кусокъ грязи. Крѣпко сжавъ руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, онъ сказалъ угрюмымъ баскомъ:

— Это вы — нераскаянный грѣшникъ, коего сунули намъ исправленія вашего ради? Вотъ мы васъ исправимъ! Чаемъ угостить можете?

Въ сѣдой бородкѣ спрятано сухонькое личико аскета, изъ глубокихъ глазницъ кротко сіяетъ улыбка умныхъ глазъ.

— Прямо изъ лѣса зашелъ. Нѣтъ ли чего — переодѣться мнѣ?

Я уже много слышалъ о немъ, зналъ, что сынъ его — политическій эмигрантъ, одна дочь сидитъ въ тюрьмѣ «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; зналъ, что онъ затратилъ всѣ свои средства на поиски воды, заложилъ домъ, живетъ какъ нищій, самъ копаетъ канавы въ лѣсу, забивая ихъ глиной, а когда силъ у него не хватало, — Христа ради просилъ окрестныхъ мужиковъ помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически слѣдя за работой «чудака» попа, — пальцемъ о палецъ не ударилъ въ помощь ему.

Вотъ съ этимъ человѣкомъ Л. Андреевъ и встрѣтился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дулъ вѣтеръ, по улицѣ летѣли какія-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась въ стекла оконъ, съ поля на городъ двигалась огромная дождевая туча. Въ комнату къ намъ неожиданно вошелъ отецъ Феодоръ, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора, укравшаго у него саквояжъ и зонтъ, губернатора, который не хочетъ понять, что водопроводъ полезнѣе кредитнаго общества, — Леонидъ широко открылъ глаза и шепнулъ мнѣ:

— Это что?

Черезъ часъ, за самоваромъ, онъ, буквально разинувъ ротъ, слушалъ, какъ протоіерей нелѣпаго города Арзамаса, пристукивая кулакомъ по столу, порицалъ гностиковъ за то, что они боролись съ демократизмомъ церкви, стремясь сдѣлать ученіе о богопознаніи недоступнымъ разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшаго познания искателями, аристократами духа, — а не народъ ли, въ лицѣ мудрѣйшихъ водителей своихъ, суть воплощеніе мудрости Божіей и духа Его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократъ», гудѣль отецъ Θεодоръ, а Леонидъ, толкая меня локтемъ, шепталъ:

— Вотъ олицетворенный ужасъ арзамасскій!

Но вскорѣ онъ уже размахивалъ рукою предъ лицомъ отца Θεодора, доказывая ему безсиліе мысли, а священникъ, встряхивая бородой, возражалъ:

— Не мысль безсильна, а невѣріе.

— Оно является сущностью мысли...

— Софизмы сочиняете, господинъ писатель...

По стекламъ оконъ хлещетъ дождь, на столѣ курлыкаетъ самоваръ, старый и малый ворошатъ древнюю мудрость, а со стѣны вдумчиво смотритъ на нихъ Левъ Толстой съ палочкой въ рукѣ — великій странникъ міра сего. Ниспровергнувъ все, что успѣли, мы разошлись по комнатамъ далеко за полночь, я уже легъ въ постель съ книгой въ рукахъ, но въ дверь постучали, и явился Леонидъ, востропанный, возбужденный, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, сѣлъ на постель ко мнѣ и заговорилъ, восхищаясь:

— Вотъ такъ попъ! Какъ онъ меня обнаружилъ, а?

И вдругъ на глазахъ у него сверкнули слезы.

— Счастливъ ты, Алексѣй, чортъ тебя возьми! Всегда около тебя какіе-то удивительно интересные люди, а я — одинокъ... или же вокругъ меня толкуются...

Онъ махнулъ рукою. Я сталъ рассказывать ему о жизни отца Θεодора, о томъ, какъ онъ искалъ воду, о написанной имъ «Исторіи ветхаго завѣта», рукопись которой у него отобрана по постановленію Синода, о книгѣ «Любовь — законъ жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. Въ этой книгѣ отецъ Θεодоръ доказывалъ цитатами изъ Пушкина и другихъ поэтовъ, что чувство любви человѣка къ человѣку является основой бытія и развитія міра, что оно столь же могущественно, какъ законъ всеобщаго притяженія, и во всемъ подобно ему.

— Да, — задумчиво говорилъ Леонидъ — надо мнѣ поучиться кое-чему, а то стыдно передъ попомъ...

Снова постучали въ дверь — вошелъ отецъ Θεодоръ, запахивая подрясникъ, босый, печальный.

— Не спите? А я, того... пришелъ! Слышу, говорятъ, пойду, молъ — извинюсь! Покричалъ я на васъ рѣзковато, молодые люди, такъ вы не обижайтесь... Легъ, подумалъ про васъ — хорошіе человѣки, ну, рѣшилъ, — что я напрасно горячился... Вотъ — пришелъ — простите! Иду спать...

Забрались оба на постель ко мнѣ, и снова началась безконечная бесѣда о жизни. Леонидъ — хохоталъ и умилялся:

— Нѣтъ, какова наша Россія?.. «Позвольте, — мы еще не рѣшили вопроса о бытіи Бога, а вы объдать зовете!» Это же — не Бѣлинскій говоритъ, это — вся Русь говоритъ Европѣ, ибо Европа,

въ сущности, зоветь насъ обѣдать, сытно ѣсть, — не болѣе того!

А отецъ Θεодоръ, кутая подрясникомъ тонкія, костяныя ноги, улыбаясь, возражалъ:

— Однако Европа все-жъ таки мать крестная намъ, — не забудьте! Безъ Вольтеровъ ея и безъ ея ученыхъ — мы бы съ вами не состязались въ знаніяхъ философическихъ, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На разсвѣтѣ отецъ Θεодоръ простился и часа черезъ два уже исчезъ хлопотать о водопроводѣ арзамасскомъ, а Леонидъ, проспавъ до вечера, — вечеромъ говорилъ мнѣ:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтобъ въ тухломъ какомъ-то городѣ жилъ умница попь, энергичный и интересный? И почему именно попь — умница въ этомъ городѣ, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только въ Москвѣ, — уѣзжай отсюда. Скверно тутъ, — дождь, грязь... И тотчасъ же сталъ собираться домой...

На вокзалѣ онъ сказалъ:

— А все-таки этотъ попь — недоразумѣніе. Анекдотъ!

Онъ довольно часто жаловался, что почти не видитъ людей значительныхъ, оригинальныхъ.

— Ты, вотъ, умѣешь находить ихъ, а за меня всегда цѣпляется какой-то репейникъ, и таскаю я его на хвостѣ моемъ — зачѣмъ?

Я указывалъ людей, знакомство съ которыми было бы полезно ему — людей высокой культуры или оригинальной мысли, говорилъ о В. В. Розановѣ и другихъ. Мнѣ казалось, что знакомство

съ Розановымъ было бы особенно полезно для Андреева. Онъ удивлялся!

— Не понимаю тебя!

И говорилъ о консерватизмѣ Розанова, чего могъ бы и не дѣлать, ибо въ существѣ духа своего былъ глубоко равнодушенъ къ политикѣ, лишь изрѣдка обнаруживая приступы внѣшняго любопытства къ ней. Его основное отношеніе къ политическимъ событіямъ онъ выразилъ наиболѣе искренно въ разсказѣ: «Такъ было — такъ будетъ».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у чорта и вора такъ же, какъ у святого отшельника, и что изученіе не значитъ — подчиненіе.

— Это не совсѣмъ вѣрно — возражалъ онъ, — вся наука представляетъ собою подчиненіе факту. А Розанова я не люблю; онъ для меня тотъ песь, о которомъ сказано въ Библии: «возвратился на блевотину свою».

Иногда казалось, что онъ избѣгаетъ личныхъ знакомствъ съ крупными людьми потому, что боится вліянія ихъ; — встрѣтится разъ, два съ однимъ изъ такихъ людей, иногда горячо расхвалитъ человѣка, но вскорѣ теряетъ интересъ къ нему и уже не ищетъ новыхъ встрѣчъ.

Такъ было съ Саввой Морозовымъ, — послѣ первой длительной бесѣды съ нимъ Л. Андреевъ, восхищаясь тонкимъ умомъ, широкими знаніями и энергіей этого человѣка, называлъ его Ермакъ Тимоѣевичъ, говорилъ, что Морозовъ будетъ играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, братъ, англійскій лордъ!

А Савва Тимофеевъ говорилъ объ Андреевѣ:

— Онъ только кажется самоувѣреннымъ, но не чувствуетъ увѣренности въ себѣ и хочетъ извлечь ее отъ разума. Но разумъ у него — шаткій, онъ это знаетъ и не вѣритъ ему...

* * *

Я пишу какъ подсказываетъ память, не заботясь о послѣдовательности, о «хронологіи».

Въ «Художественномъ театрѣ», когда онъ помѣщался еще въ Каретномъ ряду, Леонидъ Николаевичъ познакомилъ меня со своей невѣстой — худенькой, хрупкой барышней съ милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мнѣ безличной, но вскорѣ я убѣдился, что это челоуѣкъ умнаго сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнскаго, бережнаго отношенія къ Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значеніе его таланта и мучительныя колебанія его настроеній. Она — изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, которыя, умѣя быть страстными любовницами, не теряютъ способности любить любовью матери, — эта двойная любовь вооружила ее тонкимъ чутьемъ, и она прекрасно разбиралась въ подлинныхъ жалобахъ его души и звонкихъ словахъ капризнаго настроенія минуты.

Какъ извѣстно, русскій челоуѣкъ «ради краснаго словца не жалѣетъ ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался краснымъ словомъ и порою сочинялъ изреченія весьма сомнительнаго тона.

«Черезъ годъ послѣ брака жена точно хорошо разношенный башмакъ, — его не чувствуешь» — сказала она однажды при Александрѣ Михайловнѣ. Она умѣла не обращать вниманія на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смѣялась. Но, обладая въ высокой степени чувствомъ уваженія къ себѣ самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нея былъ тонко развитъ вкусъ къ музыкѣ слова, къ формѣ рѣчи. Маленькая, гибкая, она было изящна, а иногда какъ-то забавно, по-дѣтски, важна, — я прозвалъ ее «Дама Шура», это очень привилось ей.

Л. Н. цѣнилъ ее, а она жила въ постоянной тревогѣ за него, въ непрерывномъ напряженіи всѣхъ силъ своихъ, совершенно жертвуя личностью своей интересамъ мужа.

Въ Москвѣ у Андреева часто собирались литераторы, было очень тѣсно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, нѣсколько сдерживали «широту» русскихъ натуръ. Часто бывалъ Ѳ. И. Шаляпинъ, восхищая всѣхъ своими разсказами.

Когда расцвѣталъ «модернизмъ», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще дѣлать. Seriously думать о литературѣ было некогда, на первомъ планѣ стояла война и политика. Блокъ, Бѣлый, Брюсовъ казались какими-то «уединенными пошехонцами», въ лучшемъ мнѣніи — чудаками, въ худшемъ — чѣмъ-то вродѣ измѣнниковъ «великимъ традиціямъ русской

общественности». Я тоже так думалъ и чувствовалъ. Время ли для «Симфоніи», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? Событія развивались въ направленіи катастрофы, признаки ея близости становились все болѣе грозными, эсъ-эры бросали бомбы, и каждый взрывъ сотрясалъ всю страну, вызывая напряженное ожиданіе коренного переворота соціальной жизни. Въ квартирѣ Андреева происходили засѣданія Ц. К. соціаль-демократовъ большевиковъ, и однажды весь Комитетъ вмѣстѣ съ хозяиномъ квартиры былъ арестованъ и отвезенъ въ тюрьму.

Просидѣвъ въ тюрьмѣ съ мѣсяцъ, Л. Н. вышелъ оттуда точно изъ купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмутъ, — хочешь всесторонне расшириться! — говоритъ онъ.

И смѣялся надо мной.

— Ну, что, пессимистъ? А вѣдь Россія-то — оживаетъ? А ты риёмовалъ: самодержавіе — ржавѣя.

Онъ печаталъ рассказы «Марсельеза», «Набатъ», «Рассказъ, который никогда не будетъ конченъ», но уже въ октябрѣ 1905 г. прочиталъ мнѣ въ рукописи «Такъ было».

— Не преждевременно ли? — спросилъ я.

Онъ отвѣтилъ:

— Хорошее всегда преждевременно...

Вскорѣ онъ уѣхалъ въ Финляндію и хорошо сдѣлалъ — бессмысленная жестокость декабрьскихъ событій раздавила бы его. Въ Финляндіи онъ велъ себя политически активно, выступалъ на

митингъ, печаталъ въ газетахъ Гельсингфорса рѣзкіе отзывы о политикѣ монархистовъ, но настроеніе у него было подавленное, взглядъ на будущее — безнадеженъ. Въ Петербургъ я получилъ письмо отъ него; онъ писалъ между прочимъ:

«У каждой лошади есть свои врожденныя особенности, у націй — тоже. Есть лошади, которыя со всѣхъ дорогъ сворачиваютъ въ кабакъ, — наша родина свернула къ точкѣ наиболѣе любезной ей и снова долго будетъ жить распивочно и на вынось».

*

*

*

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ мы встрѣтились въ Швейцаріи, въ Монтрэ. Леонидъ издѣвался надъ жизнью швейцарцевъ.

— Намъ, людямъ широкихъ плоскостей, не мѣсто въ этихъ тараканьихъ щеляхъ, — говорилъ онъ.

Мнѣ показалось, что онъ нѣсколько поблекъ, потускнѣлъ, въ глазахъ его остеклѣло выраженіе усталости и тревожной печали. О Швейцаріи онъ говорилъ также плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить объ этой странѣ свободолюбивые люди изъ Чухломы, Конотопа и Тетюшъ. Одинъ изъ нихъ опредѣлилъ русское понятіе свободы глубоко и мѣтко такими словами:

«Мы въ нашемъ городѣ живемъ какъ въ банѣ — безъ поправокъ, безъ стѣсненія». О Россіи Л. Н. говорилъ скучно и нехотя, и однажды, сидя у камина, вспомнилъ нѣсколько строкъ горестнаго стихотворенія Якубовича «Родинѣ»:

«За что любить тебя, какая ты намъ мать?»

— Написаль я пьесу, — прочитаемъ?

И вечеромъ онъ прочиталь «Савву».

Еще въ Россіи, слушая рассказы о юношѣ Уфимцевѣ и товарищахъ его, которые пытались взорвать икону Курской Богоматери, — Андреевъ рѣшилъ обработать это событіе въ повѣсть и тогда же, сразу, очень интересно создалъ планъ повѣсти, выпукло очертилъ характеры. Его особенно увлекалъ Уфимцевъ, поэтъ въ области научной техники, юноша, обладавшій несомнѣннымъ талантомъ изобрѣтателя. Сосланный въ Семирѣченскую область, кажется въ Каркаралы, живя тамъ подъ строгимъ надзоромъ людей невѣжественныхъ и суевѣрныхъ, не имѣя необходимыхъ инструментовъ и матеріаловъ, онъ изобрѣлъ оригинальный двигатель внутренняго сгорания, усовершенствовалъ циклостиль, работаль надъ новой системой драги, придумаль какой-то «вѣчный патронъ» для охотничьихъ ружей. Чертежи его двигателя я показываль инженерамъ въ Москвѣ, и они говорили мнѣ, что изобрѣтеніе Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всѣхъ этихъ изобрѣтеній, — уѣхавъ за границу, я потерялъ Уфимцева изъ виду.

Но я зналъ, что это юноша изъ ряда тѣхъ прекрасныхъ мечтателей, которые, — очарованы своей вѣрой и любовью, — идутъ разными путями къ одной и той же цѣли — къ возбужденію въ народѣ своемъ разумной энергіи, творящей добро и красоту.

Мнѣ было грустно и досадно видѣть, что Ан-

древъ исказилъ этотъ характеръ, еще не тронутый русской литературой, — мнѣ казалось, что въ повѣсти — какъ она была задумана — характеръ этотъ найдетъ и оцѣнку, и краски, достойныя его. Мы поспорили и, можетъ быть, я нѣсколько рѣзко говорилъ о необходимости точнаго изображенія нѣкоторыхъ — наиболѣе рѣдкихъ и положительныхъ — явленій дѣйствительности.

Какъ всѣ люди опредѣленно очерченнаго «я», острога ощущенія своей «самости», — Л. Н. не любилъ противорѣчія, — онъ обидѣлся на меня, и мы разстались холодно.

* * *

Кажется въ 907 или 8-омъ году Андреевъ прѣхалъ на Капри, похоронивъ «Даму Шуру» въ Берлинѣ, — она умерла отъ послѣродовой горячки. Смерть умнаго и добраго друга очень тяжело отразилась на психикѣ Леонида. Всѣ его мысли и рѣчи сосредоточенно вращались вокругъ воспоминаній о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорилъ онъ, странно расширяя зрачки, — лежитъ она еще живая, а дышитъ уже трупнымъ запахомъ. Это очень ироническій запахъ.

Одѣтый въ какую-то бархатную черную куртку, онъ даже и внѣшне казался измятымъ, раздавленнымъ. Его мысли и рѣчи были жутко сосредоточены на вопросѣ о смерти. Случилось такъ, что онъ поселился на виллѣ Карачіолло, принадлежавшей вдовѣ художника, потомка маркиза Карачіолло,

сторонника французской партіи, казеннаго Фердинандомъ Бомбой. Въ темныхъ комнатахъ этой виллы было сыро и мрачно, на стѣнахъ висѣли незаконченныя грязноватыя картины, напоминая о пятнахъ плѣсени. Въ одной изъ комнатъ былъ большой закопченный каминъ, а передъ окнами ея, затѣняя ихъ, густо разросся кустарникъ; въ стекла со стѣнъ дома заглядывалъ плющъ. Въ этой комнатѣ Леонидъ устроилъ столовую.

Какъ-то подъ вечеръ, придя къ нему, я засталъ его въ креслѣ предъ каминомъ. Одѣтый въ черное, весь въ багровыхъ отсвѣтахъ тлѣющаго угля, онъ держалъ на колѣняхъ сына своего, Вадима, и вполголоса, всклипывая, говорилъ ему что-то. Я вошелъ тихо; мнѣ показалось, что ребенокъ засыпаетъ, я сѣлъ въ кресло у двери и слышу: Леонидъ рассказываетъ ребенку о томъ, какъ смерть ходитъ по землѣ и душитъ маленькихъ дѣтей.

— Я боюсь, — сказала Вадимъ.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторилъ мальчикъ.

— Ну, иди спать...

Но ребенокъ прижался къ ногамъ отца и заплакалъ. Долго не удавалось намъ успокоить его, — Леонидъ былъ настроенъ истерически, его слова раздражали мальчика, онъ топалъ ногами и кричалъ:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я замѣтилъ, что едва ли слѣдуетъ пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобѣдимомъ великанѣ.

— А если я не могу говорить о другомъ? — рѣзко сказалъ онъ. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мнѣ одного хочется — вырвать мой портретъ изъ этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить съ нимъ было трудно, почти невозможно, — онъ нервничалъ, сердился и, казалось, нарочито растрavлялъ свою боль.

— Меня преслѣдуетъ мысль о самоубійствѣ, мнѣ кажется, что тѣнь моя, ползая за мной, шепчетъ мнѣ: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда онъ давалъ понять, что вызываетъ опасенія за себя сознательно и нарочито, какъ бы желая слышать еще разъ, что скажутъ ему въ оправданіе и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношеніе капрійцевъ къ русскимъ довольно быстро разсѣяли мрачное настроеніе Леонида. Мѣсяца черезъ два его точно вихремъ охватило страстное желаніе работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камняхъ у моря, онъ встряхнулъ головой и сказалъ:

— Баста! Завтра съ утра начинаю писать.

— Лучше этого тебѣ ничего не сдѣлать.

— Вотъ именно.

И весело, — какъ онъ давно уже не говорилъ, — онъ началъ рассказывать о планахъ своихъ работъ.

— Прежде всего, братъ, я напишу рассказъ на тему о деспотизмѣ дружбы, — ужъ расплачусь же я съ тобой, злодѣй!

И тотчасъ, — легко и быстро, сплелъ юмористическій разсказъ о двухъ друзьяхъ, мечтателѣ и математикѣ, — одинъ изъ нихъ всю жизнь рвется въ небеса, а другой заботливо подсчитываетъ издержки воображаемыхъ путешествій и этимъ рѣшительно убиваетъ мечты друга.

Но вслѣдъ за этимъ онъ сказалъ:

— Я хочу писать объ Іудѣ, — еще въ Россіи я прочиталъ стихотвореніе о немъ — не помню чье¹⁾, — очень умное... Что ты думаешь объ Іудѣ?

У меня въ то время лежалъ чей-то переводъ тетралогіи Юліуса Векселля «Іуда и Христосъ», переводъ разсказа Тора Гедберга и поэма Голованова, — я предложилъ ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня можетъ запутать. Разскажи мнѣ лучше — что они писали? Нѣтъ, не надо, не разсказывай.

Какъ всегда въ моменты творческаго возбужденія, онъ вскочилъ на ноги, — ему необходимо было двигаться.

— Идемъ!

Дорогой онъ разсказалъ содержаніе «Іуды», а черезъ три дня принесъ рукопись. Этимъ разсказомъ онъ началъ одинъ изъ наиболѣе плодотворныхъ періодовъ своего творчества. На Капри онъ затѣялъ пьесу «Черныя маски», написалъ злую юмореску «Любовь къ ближнему», разсказъ «Тьма», создалъ планъ «Сашки Жегулева», сдѣлалъ наброски пьесы «Океанъ» и написалъ нѣсколько главъ

¹⁾ А. Рославлева.

— двѣ или три — повѣсти «Мои записки»; — все это въ теченіе полугода. Эти серьезныя работы и начинанія не мѣшали Л. Н. принимать живое участіе въ сочиненіи пьесы «Увы», пьесы въ классически-народническомъ духѣ, въ стихахъ и прозѣ, съ пѣніемъ, плясками и всевозможнымъ угнетеніемъ несчастныхъ русскихъ землепашцевъ. Содержаніе пьесы достаточно ясно характеризуетъ перечень дѣйствовавшихъ въ ней лицъ:

«Угнетонъ — безжалостный помѣщикъ.

Свирепѣя — таковая же супруга его.

Филистерій — Угнетоновъ братъ, литераторишко прозаическій.

Декадентій — неудачное чадо Угнетоново.

Терпимъ — землепашецъ, весьма несчастенъ, но не всегда пьянъ.

Скорбѣла — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здраваго смысла, хоша беременна.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснѣйшій становой приставъ. Купается въ мундирѣ и при орденахъ.

Раскатай — несомнѣнный урядникъ, а на самомъ дѣлѣ — благородный графъ Эдмонъ де Птіе.

Мотря Колокольчикъ — тайная супруга графова, а въ дѣйствительности испанская маркиза донна Кармень Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тѣнь русскаго критика Скабичевскаго.

Тѣнь Каклица-Юзова.

Аѳанасій Щаповъ, въ совершенно трезвомъ видѣ.

«Мы говорили» — группа личностей безъ рѣчей и дѣйствій.

Мѣсто происшествія — «Голубья Грязи», помещенное въ Угнетово, дважды заложненное въ Дворянскомъ банкѣ и однажды еще гдѣ-то».

Быль написанъ цѣлый актъ этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелѣпостями. Прозаическій діалогъ уморительно писалъ Андреевъ и самъ хоталъ, какъ дитя, надъ выдумками своими.

Никогда, ни ранѣе, ни послѣ, я не видалъ его настроеннымъ до такой высокой степени активно, такимъ необычно трудоспособнымъ. Онъ какъ будто навсегда отрѣшился отъ своей неприязни къ процессу писанія и могъ сидѣть за столомъ день и ночь, полуодѣтый, растрепанный, веселый. Его фантазія разгорѣлась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день онъ сообщалъ планъ новой повѣсти или разсказа.

Вотъ когда, наконецъ, я взялъ себя въ руки! — говорилъ онъ, торжествуя.

И спрашивалъ о знаменитомъ пиратѣ Барбароссѣ, о Томазо Аниелло, о контрабандистахъ, карбонаріяхъ, о жизни калабрійскихъ пастуховъ.

— Какая масса сюжетовъ, какое разнообразіе жизни! — восхищался онъ. — Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у насъ: взялъ я какъ-то «Жизнь русскихъ царей», читаю — ѣдятъ! Сталъ читать «Исторію русскаго народа» — страдаютъ! Бросилъ, — обидно и скучно.

Но, рассказывая о затѣяхъ своихъ выпукло и красочно, писалъ онъ небрежно. Въ первой редакціи разсказа «Иуда» у него оказалось нѣсколько

ошибокъ, которыя указывали, что онъ не позаботился прочесть даже Евангеліе. Когда ему говорили, что «герцогъ Спандаро» для итальянца звучитъ такъ же нелѣпо, какъ для русскаго звучало бы «князь Башмачниковъ», а Сень-Бернардскихъ собакъ въ XII вѣкѣ еще не было, — онъ сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «они пьютъ вино, какъ верблюды», не прибавивъ — воду!

— Ерунда!

Онъ относился къ своему таланту, какъ плохой ѣздокъ къ прекрасному коню, — безжалостно скакалъ на немъ, но не любилъ, не холилъ. Рука его не успѣвала рисовать сложные узоры буйной фантазій, онъ не заботился о томъ, чтобъ развить силу и ловкость руки. Иногда онъ и самъ понималъ, что это является великою помѣхой нормальному росту его таланта.

— Языкъ у меня костенѣетъ, я чувствую, что мнѣ все труднѣй находить нужныя слова...

Онъ старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убѣдительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно-темныхъ словъ, онъ добивался того, что слишкомъ обнажалъ ее, и казалось, что онъ пишетъ популярныя діалоги на темы философіи.

Изрѣдка, чувствуя это, онъ огорчался:

— Паутина, — липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, правъ: онъ, дѣйствительно, потомокъ одного изъ тѣхъ геніальныхъ ка-

менщиковъ, которые строили неразрушимые храмы средневѣковья!

* * *

На Капри Леониду сообщили эпизодъ, которымъ онъ воспользовался для разсказа «Тьма». Героемъ эпизода этого былъ мой хорошій знакомый, революціонеръ. Въ дѣйствительности эпизодъ былъ очень простъ: дѣвица «дома терпимости», чутьемъ угадавъ въ своемъ «гостѣ» затравленного сыщиками, насильно загнаннаго къ ней революціонера, отнеслась къ нему съ нѣжной заботливостью матери и тактомъ женщины, которой вполнѣ доступно чувство уваженія къ герою. А герой, человѣкъ душевно неуклюжій, книжный, отвѣтилъ на движеніе сердца женщины проповѣдью морали, напомнивъ ей о томъ, что она хотѣла забыть въ этотъ часъ. Оскорбленная этимъ, она ударила его по щекѣ, — пощечина вполнѣ заслуженная на мой взглядъ. Тогда, понявъ всю грубость своей ошибки, онъ извинился предъ нею и поцѣловалъ руку ея, — мнѣ кажется, послѣдняго онъ могъ бы и не дѣлать. Вотъ и все.

Иногда, къ сожалѣнію, очень рѣдко, дѣйствительность бываетъ правдивѣе и краше даже очень талантливаго разсказа о ней.

Такъ было и въ этомъ случаѣ, но Леонидъ неузнаваемо исказилъ и смыслъ, и форму событія. Въ дѣйствительномъ публичномъ домѣ не было ни мучительнаго и грязнаго издѣвательства надъ человекомъ и ни одной изъ тѣхъ жуткихъ деталей, ко-

торами Андреевъ обильно уснастиль свой рассказъ.

На меня это искаженіе подѣйствовало очень тяжело: Леонидъ какъ будто отмѣнилъ, уничтожилъ праздникъ, котораго я долго и жадно ожидалъ. Я слишкомъ хорошо знаю людей для того, чтобъ не цѣнить — очень высоко — малѣйшее проявленіе добраго, честнаго чувства. Конечно, я не могъ не указать Андрееву на смыслъ его поступка, который для меня былъ равносильнъ убійству изъ каприза, — злого каприза. Онъ напомнилъ мнѣ о свободѣ художника, но это не измѣнило моего отношенія, — я и до сего дня еще не убѣжденъ въ томъ, что столь рѣдкія проявленія идеально-человѣческихъ чувствъ могутъ произвольно искажаться художникомъ въ угоду догмы, излюбленной имъ.

Мы долго бесѣдовали на эту тему, и, хотя бесѣда носила вполнѣ миролюбивый, дружескій характеръ, но все же съ этого момента между мною и Андреевымъ что-то порвалось.

Конецъ этой бесѣды очень памятенъ мнѣ.

— Чего ты хочешь? — спросилъ я Леонида.

— Не знаю, — отвѣтилъ онъ, пожавъ плечами, и закрылъ глаза.

— Но вѣдь есть же у тебя какое-то желаніе, — оно или всегда впереди другихъ, или возникаетъ болѣе часто, чѣмъ всѣ другія?

— Не знаю, — повторилъ онъ. — Кажется, — нѣтъ ничего подобнаго. Впрочемъ, иногда я чувствую, что для меня необходима слава, — много славы, столько, сколько можетъ дать весь міръ. Тогда я концентрирую ее въ себѣ, сжимаю до воз-

можныхъ предѣловъ и, когда она получить силу взрывчатаго вещества, — я взрываюсь, освѣщая міръ какимъ-то новымъ свѣтомъ. И послѣ того люди начнутъ жить новымъ разумомъ. Видишь ли — необходимъ новый разумъ, не этотъ лживый мошенникъ! Онъ беретъ у меня всё лучшее плоти моей, всё мои чувства и, обѣщая отдать съ процентами, не отдаетъ ничего, говоря: завтра! Эволюція, — говоритъ онъ. А когда терпѣніе мое истощается, жажда жизни душитъ меня, — революція, — говоритъ онъ. И обманываетъ грязно. И я умираю, ничего не получивъ.

— Тебѣ нужна вѣра, а не разумъ.

— Можетъ быть. Но если такъ, то прежде всего — вѣра въ себя.

Онъ возбужденно бѣгалъ по комнатѣ, потомъ, присѣвъ на столъ, размахивая рукою предъ лицомъ моимъ, продолжалъ.

— Я знаю, что Богъ и Дьяволъ только символы, но мнѣ кажется, что вся жизнь людей, весь ея смыслъ въ томъ, чтобы бесконечно, безпредѣльно расширять эти символы, питая ихъ кровью и плотью міра. А вложивъ всё до конца силы свои въ эти двѣ противоположности, человѣчество исчезаетъ, они же стануть плотскими реальностями и останутся жить въ пустотѣ вселенной глазъ на глазъ другъ съ другомъ, непобѣдимые, бессмертные. Въ этомъ нѣтъ смысла? Но его нигдѣ, ни въ чемъ нѣтъ.

Онъ поблѣднѣлъ, у него дрожали губы, въ глазахъ сухо блестѣлъ ужасъ.

Потомъ онъ добавилъ вполголоса, безсильно:

— Представимъ себѣ Дьявола — женщиной, Бога — мужчиной, и пусть они родятъ новое существо, — такое же, конечно, двойственное, какъ мы съ тобой. Такое же...

* *
*

Уѣхаль онъ съ Капри неожиданно; еще за день передъ отъѣздомъ говорилъ о томъ, что скоро сядетъ за столъ и мѣсяца три будетъ писать, но въ тотъ же день вечеромъ сказалъ мнѣ:

— А знаешь, я рѣшилъ уѣхать отсюда. Надо все-таки жить въ Россіи, а то здѣсь одолѣваетъ какое-то оперное легкомысліе. Водевили писать хочется, водевили съ пѣніемъ. Въ сущности — здѣсь не настоящая жизнь, а — опера, здѣсь гораздо больше поютъ, чѣмъ думаютъ. Ромео, Отелло и прочихъ въ этомъ родѣ изобрѣлъ Шекспиръ, — итальянцы неспособны къ трагедіи. Здѣсь не могъ бы родиться ни Байронъ, ни Поэ.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди... кто знаетъ его? Это изъ тѣхъ, о комъ говорятъ, но кого не читаютъ...

Уѣзжая, онъ говорилъ мнѣ:

— Это, Алексѣюшко, тоже Арзамасъ, — веселенькій Арзамасъ, не болѣе того.

— А помнишь, какъ ты восхищался?

— До брака мы всѣ восхищаемся... Ты скоро уѣдешь отсюда? Уѣзжай, пора. Ты становишься похожимъ на монаха...

* *
*

Живя въ Италіи, я настроился очень тревожно по отношенію къ Россіи. Начиная съ 11-го года во-кругъ меня увѣренно говорили о неизбѣжности обще-европейской войны и о томъ, что эта война, на-вѣрное, будетъ роковой для русскихъ. Тревожное настроеніе мое особенно усугублялось фактами, ко-торые опредѣленно указывали, что въ духовномъ мірѣ великаго русскаго народа есть что-то болѣз-ненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономи-ческимъ Обществомъ книгу объ аграрныхъ без-порядкахъ великорусскихъ губерній, я видѣлъ, что эти безпорядки носили особенно жестокой и без-смысленный характеръ. Изучая по отчетамъ москов-ской судебной палаты характеръ преступленій на-селенія московскаго судебного округа, я былъ пора-женъ направленіемъ преступной воли, выразившем-ся въ обиліи преступленій противъ личности, а также въ насиліи надъ женщинами и растлѣніи малолѣтнихъ. А раньше этого меня непріятно по-разилъ тотъ фактъ, что во Второй Государственной Думѣ было очень значительное количество священ-никовъ — людей наиболѣе чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни од-ного крупнаго государственнаго дѣятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношеніе къ судьбѣ великорусскаго племени.

По приѣздѣ въ Финляндію я встрѣтился съ Ан-дреевымъ и, бесѣдуя съ нимъ, разказалъ ему мои невеселыя думы. Онъ горячо и даже, какъ будто, съ обидою возражалъ мнѣ, но возраженія его по-

казались мнѣ неубѣдительными — фактовъ у него не было.

Но вдругъ онъ, понизивъ голосъ, прищутивъ глаза, какъ бы напряженно всматриваясь въ будущее, онъ заговорилъ о русскомъ народѣ словами необычными для него — отрывисто, безсвязно и съ великой, несомнѣнно искренней, убѣжденностью.

Я не могу, — да если бъ и могъ, не хотѣлъ бы — воспроизвести его рѣчь; сила ея заключалась не въ логикѣ, не въ красотѣ, а въ чувствѣ мучительнаго состраданія къ народу, въ чувствѣ, на которое — въ такой силѣ, въ такихъ формахъ его — я не считалъ Л. Н. способнымъ.

Онъ весь дрожалъ въ нервномъ напряженіи и, всхлипывая какъ женщина, почти рыдая, кричалъ мнѣ:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупныхъ русскихъ писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будетъ такъ, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно генія одного Достоевскаго, чтобъ оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь милліоновъ людей. И пусть народъ духовно боленъ — будемъ лѣчить его и вспомнимъ, что — какъ сказано кѣмъ-то: «лишь въ больной раковинѣ растетъ жемчужина».

— А красота звѣря? — спросилъ я.

— А красота терпѣнія человѣческаго, кротости и любви? — возразилъ онъ. И продолжалъ гово-

рить о народѣ, о литературѣ, все болѣе пламенно и страстно.

Впервые говорилъ онъ такъ страстно, такъ лирически, раньше я слышалъ столь сильныя выраженія его любви только къ талантамъ родственнымъ ему по духу, — къ Эдгару Поэ чаще другихъ.

Вскорѣ послѣ нашей бесѣды разразилась эта гнусная война, — отношеніе къ ней еще болѣе разъединило меня съ Андреевымъ. Мы почти не встрѣчались; только въ 16-мъ году, когда онъ привезъ мнѣ книги свои, мы оба снова и глубоко почувствовали, какъ много было пережито нами, и какіе мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошломъ, настоящее же воздвигало между нами высокую стѣну непримиримыхъ разнорѣчій.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стѣна эта была прозрачна и проницаема, — я видѣлъ за нею человѣка крупнаго, своеобразнаго, очень близкаго мнѣ въ теченіе десяти лѣтъ, единственнаго друга въ средѣ литераторовъ.

Разногласія умозрѣній не должны бы вліять на симпатіи; я никогда не давалъ теоріямъ и мнѣніямъ рѣшающей роли въ моихъ отношеніяхъ къ людямъ.

Л. Н. Андреевъ чувствовалъ иначе. Но не я поставлю это въ вину ему, ибо онъ былъ таковъ, какимъ хотѣлъ и умѣлъ быть — человѣкомъ рѣдкой оригинальности, рѣдкаго таланта и достаточно мужественнымъ въ своихъ поискахъ истины.

К. Чуковскій.

К. Чуковскій.

Онъ любилъ огромное.

Въ огромномъ кабинетѣ, на огромномъ письменномъ столѣ стояла у него огромная чернильница. Но въ чернильницѣ не было чернилъ. Напрасно вы совали туда огромное перо. Чернила высохли. — Уже три мѣсяца ничего не пишу, — говорилъ Леонидъ Андреевъ. — Кромѣ «Рулевого» ничего не читаю...

«Рулевой» — журналъ для моряковъ. Вонъ на концѣ стола послѣдній номеръ этого журнала; на обложкѣ нарисована яхта.

Андреевъ ходитъ по огромному своему кабинету и говоритъ о морскомъ: о брамселяхъ, якоряхъ, парусахъ. Сегодня онъ морякъ, морской волкъ. Даже походка стала у него морская. Онъ куритъ не папиросу, а трубку. Усы сбрилъ; шея открыта по-матросски. Лицо загорѣлое. На гвоздѣ виситъ морской бинокль.

Вы пробуете заговорить о другомъ. Онъ слушаетъ только изъ вѣжливости.

Завтра утромъ ѣдемъ на «Саввѣ», а покуда...

«Савва» — его моторная яхта. Онъ говоритъ объ аваріяхъ, подводныхъ камняхъ и меляхъ.

Ночь. Четыре часа. Вы сидите на диванѣ и слушаете, а онъ ходитъ и говоритъ монологи.

Онъ всегда говорить монологи. Рѣчь его ритмична и текуча.

Иногда онъ останавливается, наливаетъ себѣ стаканъ крѣпчайшаго, чернаго, холоднаго чаю, выпиваетъ его залпомъ, какъ рюмку водки, лихорадочно глотаетъ карамельку, — и снова говорить, говорить... Говорить о Богѣ, о смерти, о томъ, что всѣ моряки вѣрятъ въ Бога, что, окруженные безднами, всю жизнь ощущаютъ близость смерти; ежевнощно созерцая звѣзды, они становятся поэтами и мудрецами. Если бъ они могли выразить то, что они ощущаютъ, когда гдѣ-нибудь въ Индійскомъ океанѣ стоятъ подъ огромными звѣздами, они затмили бы Шекспира и Канта...

Но вотъ, наконецъ, онъ усталъ. Монологъ прерывается длинными паузами. Походка становится вялой. Половина шестого. Онъ выпиваетъ еще два стакана, беретъ свѣчку и уходитъ къ себѣ:

— Завтра утромъ мы ѣдемъ на «Саввѣ».

Вамъ послано рядомъ, въ башнѣ. Вы ложитесь, но не можете заснуть. Вы думаете: какъ онъ усталъ! Вѣдь въ эту ночь онъ прошелъ по своему кабинету *не меньше восемнадцати верстъ*, и, если бы записать, что онъ говорилъ въ эту ночь, вышла бы не маленькая кнѣга. Какая безумная трата силъ!

Утромъ на баркасѣ *Хамидолъ* мы отправляемся въ море. И откуда Андреевъ досталъ эту кожаную рыбацью норвежскую шапку? — такая шапки я видалъ лишь на картинкахъ, въ журналѣ «Вокругъ Свѣта». И высокіе непромокаемые сапоги, совсѣмъ какъ у кинематографическихъ пира-

товъ. Дайте ему въ руки гарпунъ, — великолѣпный китобой изъ Джека Лондона.

Вотъ и яхта. Вотъ и садовникъ Степанычъ, загримированный боцманомъ. До позднего вечера мы носимся по Финскому заливу, и я не перестаю восхищаться этимъ гениальнымъ актеромъ, который уже двадцать четыре часа играетъ, — безъ публики, для самого себя — столь новую и трудную роль. Какъ онъ набиваетъ трубку, какъ онъ сплевываетъ, какъ онъ взглядываетъ на игрушечный компасъ! Онъ чувствуетъ себя капитаномъ какого-то океанского судна. Широко разставивъ могучія ноги, онъ сосредоточенно и молчаливо смотритъ вдаль; отрывисто звучитъ его команда... На пассажировъ — никакого вниманія; какой же капитанъ океанского судна разговариваетъ со своими пассажирами!..

Въ этой игрѣ было много прелестнаго дѣтскаго простодушія. Только очень талантливые люди — только поэты — умѣютъ быть такими дѣтьми. Легко представить себѣ Пушкинскаго Моцарта, съ увлеченіемъ играющимъ въ лошадки. Сальери именно потому и бездаренъ, что неспособенъ къ игрѣ. Когда ребенокъ дѣлаетъ себѣ желѣзную дорогу изъ стульевъ, надо быть унылой бездарностью, чтобы сказать ему, что это не вагоны. Въ томъ-то и было главное очарованіе Андреева, что въ какую бы игру онъ ни игралъ, — а онъ всегда игралъ въ какую-нибудь игру, — онъ искренно вѣрилъ въ нее и отдавался ей весь безъ остатка.

* * *

Когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вы снова приѣзжали къ нему, оказывалось, что онъ живописецъ.

У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На немъ бархатная черная куртка. Его кабинетъ преобразенъ въ мастерскую. Онъ плодovitъ какъ Рубенсъ: не разстается съ кистями весь день. Вы ходите изъ комнаты въ комнату, онъ показываетъ вамъ свои золотистыя, зеленожелтыя картины. Вотъ сцена изъ «Жизни Человѣка». Вотъ портретъ Ивана Бѣлоусова. Вотъ большая византійская икона, изображающая съ наивнымъ кощунствомъ Иуду Искаріотскаго и Христа. Оба похожи какъ близнецы, у обоихъ надъ глазами общій вѣнчикъ.

Всю ночь онъ ходитъ по огромному своему кабинету и говоритъ о Веласкесѣ, Дюрерѣ, Врубелѣ. Вы сидите на диванѣ и слушаете. Внезапно онъ прищуривается, отступаетъ назадъ, окидываетъ васъ взоромъ живописца, потомъ зоветъ жену и говоритъ:

— Аня, посмотри, какая свѣтотень!

Вы пробуете заговорить о другомъ, но онъ слушаетъ только изъ вѣжливости. Завтра вернисажъ въ Академіи Художествъ, вчера приѣзжалъ къ нему Рѣпинъ, послѣзавтра онъ ѣдетъ къ Галлену. Вы хотите спросить: *а что же яхта?* — но домашніе дѣлаютъ вамъ знаки: *не спрашивайте*. Увлечшись какой-нибудь вещью, Андреевъ можетъ говорить лишь о ней; всѣ прежнія его увлеченія ста-

новятся ему ненавистны... Онъ не любитъ, если ему напоминають о нихъ.

Когда онъ играетъ художника, онъ забываетъ свою прежнюю роль моряка; вообще онъ никогда не возвращается къ своимъ прежнимъ ролямъ, какъ бы блистательно онъ ни были сыграны...

А потомъ цвѣтная фотографія.

Казалось, что не одинъ человѣкъ, а какая-то огромная фабрика, работающая безостановочно въ нѣсколько смѣнъ, изготовила всѣ эти неисчислимыя груды большихъ и маленькихъ фотографическихъ снимковъ, которые были свалены у него въ кабинетѣ, хранились въ особыхъ ларяхъ и коробкахъ, висѣли на окнахъ, загромождали столы. Не было такого угла въ его дачѣ, который онъ не снялъ бы по нѣскольку разъ. Иные снимки удавались ему превосходно: на примѣръ весенніе пейзажи. Не вѣрилось, что это фотографія, — столько въ нихъ было Левитановской элегической музыки.

Въ теченіе мѣсяца онъ сдѣлалъ тысячи снимковъ, — словно выполняя какой-то колоссальный заказъ, — и, когда вы приходили къ нему, онъ заставлялъ васъ разсматривать всѣ эти тысячи, простодушно увѣренный, что и для васъ они — источникъ блаженства. Онъ не могъ вообразить, что есть люди, для которыхъ эти стеклышки неинтересны. Онъ трогательно упрашивалъ каждого купить себѣ цвѣтную фотографію.

Ночью, шагая по огромному своему кабинету, онъ говорилъ монологи о великомъ Люмьерѣ, изобрѣтателѣ цвѣтной фотографіи, о сѣрной кислотѣ и поташѣ... Вы сидѣли и слушали.

* * *

Каждое изъ его увлеченій превращалось на время въ манію, поглощавшую его цѣликомъ.

Цѣлая полоса его жизни была окрашена любовью къ грамофонамъ, — не любовью, а бѣшеной страстью. Онъ какъ бы заболѣлъ грамофонами, и нужно было нѣсколько мѣсяцевъ, чтобы онъ излѣчился отъ этой болѣзни.

Какимъ бы пустякомъ онъ ни увлекся, онъ доводилъ его до колоссальныхъ размѣровъ. Я помню, какъ въ Куоккало онъ увлекся игрой въ городки.

— Мы больше не можемъ играть, — говорили утомленные партнеры. — Темно, ничего не видно!

— Зажгите фонари, — кричалъ онъ. — Будемте играть при фонаряхъ.

— Но вѣдь мы разобьемъ фонари.

— Не бѣда!

Первый же ударъ угодилъ въ фонарь, а не въ чушку. Фонарь вдребезги; но Андреевъ кричалъ:

— Скорѣе зажигайте другой!

Это незнаніе мѣры было его главной чертой. Его тянуло ко всему колоссальному.

Каминъ у него въ кабинетѣ былъ величиной съ ворота, а самый кабинетъ — точно площадь. Его домъ въ деревнѣ Ваммельсуу высился надъ всѣми домами: каждое бревно стопудовое; фундаментъ — циклопическія гранитныя глыбы.

Помню, незадолго до войны онъ показалъ мнѣ чертежъ какого-то грандіознаго зданія. — Что это за домъ? — спросилъ я. — Это не домъ, это

столь, — отвѣчалъ Леонидъ Андреевъ. Оказалось, что онъ заказалъ архитектору проектъ многоэтажнаго стола; обыкновенный письменный столъ былъ ему тѣсень и малъ.

Такое тяготѣніе къ огромному, великолѣпному, пышному сказывалось у него на каждомъ шагу. Гиперболическому стилю его книгъ соотвѣтствовала гиперболическій стиль его жизни. Недаромъ Рѣпинъ называлъ его: герцогъ Лоренцо. Жить бы ему въ раззолоченномъ замкѣ, гулять по роскошнымъ коврамъ, въ сопровожденіи блистательной свиты. Это было ему къ лицу, онъ словно рожденъ былъ для этого. Какъ величаво онъ являлся гостямъ на широкой, торжественной лѣстницѣ, ведущей изъ кабинета въ столовую! Если бы въ это время гдѣ-нибудь грянула музыка, это не показалось бы страннымъ.

Письма онъ писалъ на роскошной бумагѣ, почеркомъ щедрымъ и властнымъ, словно это манифесты, а не письма, — и какимъ торжественнымъ, приподнятымъ, богато-украшеннымъ стилемъ, увѣшивая каждую фразу гроздьями великолѣпныхъ періодовъ!

Его домъ былъ всегда многолюденъ: гости, родные, обширная дворня и дѣти — множество дѣтей, и своихъ, и чужихъ — его темпераментъ требовалъ жизни широкой и щедрой.

Есть люди, которые словно созданы для тѣсноты и убожества: трудно представить себѣ Достоевскаго дегенератомъ. Это было бы уродство неестественное. А Леониду Андрееву именно шло быть магнатомъ; онъ былъ въ каждомъ своемъ жестѣ

вельможа. Его красивое, точеное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, легкая поступь — все это весьма гармонировало съ той ролью величаваго герцога, которую въ послѣднее время онъ такъ превосходно игралъ. Это была его коронная роль; съ нею онъ органически сросся. Онъ былъ изъ тѣхъ талантливыхъ, честолюбивыхъ, помпёзныхъ людей, которые жаждутъ быть на каждомъ кораблѣ капитанами, архіереями въ каждомъ соборѣ. Вторыхъ ролей онъ не выносилъ во всемя, даже въ игрѣ въ городки онъ хотѣлъ быть первымъ и единственнымъ. Шествовать бы ему во главѣ какой-нибудь пышной процессіи, при свѣтѣ факеловъ, подъ звонъ колоколовъ.

* * *

Но его огромный каминъ поглощалъ неимоверное количество дровъ, и все же въ кабинетѣ стоялъ такой лютый холодъ, что туда было страшно войти.

Кирпичи тяжелаго камина такъ надавили на тысячепудовыя балки, что потолокъ обвалился, и въ столовой нельзя было обѣдать.

Гигантская водопроводная машина, доставлявшая изъ Черной рѣчки воду, испортилась, кажется, въ первый же мѣсяцъ и торчала, какъ заржавленный скелетъ, словно хвастая своею бесполезностью, пока ее не продали на сломъ.

Зимняя жизнь въ финской деревнѣ убога, неудобна и мертва. Снѣгъ, тишина, даже волки не воютъ. Финская деревня не для герцоговъ.

И вообще эта помпёзная жизнь казалась иногда декорацией. Казалось, что тамъ, за кулисами прячется что-то другое.

— Ты думаешь, это гранить? — говорилъ мнѣ одинъ пьяный писатель, стоя передъ фасадомъ его дома. — Врешь! это не гранить, а картонъ. Дунь на него, онъ повалится.

Но сколько ни дулъ пьяный писатель, гранить не хотѣлъ валиться; и все же въ этихъ пьяныхъ словахъ слышалась правда: дѣйствительно, во всемъ, что окружало и отражало Андреева, было что-то декоративное, театральное. Вся обстановка въ его домѣ казалась иногда бутафорской; и самый домъ — въ норвежскомъ стилѣ, съ башней, — казался вымысломъ талантливаго режиссера. Костюмы Андреева шли къ нему, какъ къ оперному тенору — костюмы художника, спортсмена, моряка.

Онъ носилъ ихъ, какъ носить костюмы на сценѣ.

* * *

Не знаю, почему, всякій разъ, какъ я уѣзжалъ отъ него, я испытывалъ не восхищеніе, а жалость. Мнѣ казалось, что кто-то обижаетъ его. Почему онъ барахтается въ Финскомъ заливѣ, если ему по плечу океанъ? Можно ли такую чрезмѣрную душу тратить на граммофоны? Вчера онъ всю ночь говорилъ о войнѣ, восемь часовъ подрядъ шагаль по своему кабинету и декламировалъ великолѣпный монологъ о цепелинахъ, десантахъ, кровавыхъ австрійскихъ поляхъ. Почему же онъ самъ

не поѣдетъ туда? Почему онъ сидитъ у себя въ пустотѣ, ничего не видя, не зная, и говоритъ въ пустоту, передъ случайнымъ, заѣзжимъ сосѣдомъ? Если бы ту энергію, которую онъ тратитъ на ночныя хожденія по огромному своему кабинету, — или хоть половину ея — онъ употребилъ на другое, онъ былъ бы величайшимъ путешественникомъ, онъ обошелъ бы всю землю, онъ затмилъ бы Ливингстона и Стенли. Его энергическій мозгъ жаждалъ непрерывной работы — эта безостановочная мельница требовала для своихъ жернововъ новаго и новаго зерна, но зерна почти не было, не было живыхъ впечатлѣній, — и огромные жернова съ бѣшеной силой, съ грохотомъ вертѣлись впустую, зря, вымалывая не муку, а пыль.

Да и откуда было взяться зерну? Въ своей Финляндіи Андреевъ жилъ какъ въ пустынь. Вы уѣзжали куда-нибудь въ дальнія страны, летали на аэропланахъ, сражались, и, возвратившись, съ изумленіемъ видѣли, что онъ все также шагаетъ по своему кабинету, продолжаетъ тотъ же монологъ, начатый около года назадъ. И его огромный кабинетъ казался въ тотъ вечеръ очень маленькимъ, и его рѣчь — захолустной. Не жалко ли, что художникъ, такой воспріимчивый, съ такими хваткими, жадными и зоркими глазами, не видитъ ничего, кромѣ снѣгу, сидитъ въ четырехъ стѣнахъ и слушаетъ завываніе вѣтра? Въ то время, какъ его любимые Киплинги, Лондоны, Уэллсы колесили по четыремъ континентамъ, онъ жилъ въ пустотѣ, въ пустынь, безо всякаго внѣшняго матеріала для творчества, и нужно изумляться могу-

чести его поэтическихъ силъ, которыя и въ пустотѣ не изсякли.

Писанію Леонидъ Андреевъ отдавался съ такою же чрезмѣрной стремительностью, какъ и всему остальному, — до полного истощенія силъ. Бывали мѣсяцы, когда онъ ничего не писалъ, а потомъ вдругъ съ невѣроятной скоростью продукуетъ въ нѣсколько ночей огромную трагедію или повѣсть. Шагаетъ по ковру, пьетъ черный чай и четко декламируетъ; пишущая машина стучитъ какъ безумная, но все же еле поспѣваетъ за нимъ. Періоды, диктуемые имъ, были подчинены музыкальному ритму, который несъ его на себѣ, какъ волна. Безъ этого ритма, почти стихотворнаго, онъ не писалъ даже писемъ.

Онъ не просто писалъ свои вещи, онъ былъ охваченъ ими какъ пожаромъ. Онъ становился на время маньякомъ, не видѣлъ ничего, кромѣ нея; какъ бы мала она ни была, онъ придавалъ ей грандіозные размѣры, насыщая ее гигантскими образами, ибо и въ творествѣ, какъ въ жизни, былъ чрезмѣренъ; недаромъ любимыя слова въ его книгахъ «огромный», «необыкновенный», «чудовищный». Каждая тема становилась у него колоссальной, гораздо больше его самого, и застилала передъ нимъ всю вселенную.

И поразительно: когда онъ создавалъ своего Лейзера, еврея изъ пьесы «Анатэма», онъ даже въ частныхъ разговорахъ, за чаемъ, невольно сбивался на библейскую мелодію рѣчи. Онъ и самъ становился на время евреемъ. Когда же онъ писалъ «Сашку Жегулева», въ его голосѣ слышались

волжскія залихватскія ноты. Онъ невольно перенималъ у своихъ персонажей ихъ голосъ и манеры, весь ихъ душевный тонъ, перевоплощался въ нихъ какъ актеръ. Помню, однажды вечеромъ онъ удивилъ меня безшабашной веселостью. Оказалось, что онъ только что написалъ Цыганка, удалого орловца изъ «Повѣсти о семи повѣщенныхъ». Изображая Цыганка, онъ и самъ превратился въ него и по инерціи оставался Цыганкомъ до утра — тѣ же слова, тѣ же интонаціи, жесты.

Герцогомъ Лоренцо онъ сдѣлался, когда писалъ свои «Черныя Маски»; морякомъ, когда писалъ «Океанъ».

Поэтому о немъ существуетъ столько разнорѣчивыхъ сужденій. Одни говорили: онъ чваный. Другіе: онъ — душа на распашку. Иной, пріѣзжая къ нему, заставлялъ его въ роли «Саввы». Иной натыкался на студента изъ комедіи «Дни нашей жизни». Иной — на пирата Хорре. И каждый думалъ, что это Андреевъ. Забывали, что передъ ними художникъ, который носитъ въ себѣ сотни личинъ, который искренне, съ беззавѣтной убѣжденностью считаетъ каждую свою личину — лицомъ.

Было очень много Андреевыхъ, и каждый былъ настоящій.

*

*

*

Нѣкоторыхъ Андреевыхъ я не любилъ, но тотъ, который былъ московскимъ студентомъ, мнѣ нравился. Вдругъ онъ становился мальчишески-про-

казливъ и смѣшливъ, сорилъ остротами, часто плохими, но по-домашнему милыми, сочинялъ нескладныя вирши. Въ одну такую озорную минуту, желая посмѣяться надъ московскимъ писателемъ Т., который былъ необыкновенно учтивъ, онъ на разсвѣтъ позвонилъ къ нему по телефону.

— Кто говорить? — спрашиваетъ учтивый писатель спросонья.

— Боборыкинъ! — отвѣчаетъ Андреевъ.

— Это вы, Петръ Дмитриевичъ?

— Я, — отвѣчаетъ Андреевъ дряхлымъ боборыкинскимъ голосомъ.

— Чѣмъ могу служить? — спрашиваетъ учтивый писатель.

— У меня къ вамъ просьба, — шамкаетъ Андреевъ въ телефонъ. — Дѣло въ томъ, что въ это воскресенье я женюсь... надѣюсь, вы окажете мнѣ честь, будете моимъ шаферомъ.

— Съ радостью! — восклицаетъ учтивый писатель, не смѣя изъ учтивости придти въ изумленіе по поводу свадьбы восьмидесятилѣтняго старца, обладающаго къ тому же женой.

Иныя остроты Андреева бывали удачны. Напримѣръ, свою дачу онъ называлъ «Вилла Авансъ» (она была построена на деньги, взятыя авансомъ у издателя). Про одного критика выразился: «Иуда изъ Теріокъ».

Но часто эта веселость была, — какъ и всё у Андреева, чрезмѣрная, имѣла характеръ припадка, отъ нея вамъ становилось не по себѣ, и вы радовались, когда она, наконецъ, проходила.

Послѣ этого припадка веселости онъ становился мраченъ и чаще всего начиналъ монологи о смерти. Это была его любимая тема. Слово *смерть* онъ произносилъ особенно — очень выпукло и чувственно: *смерть*, — какъ нѣкоторые сластолюбцы — слово женщина. Тутъ у Андреева былъ великій талантъ, — онъ умѣлъ бояться смерти, какъ никто. Бояться смерти — дѣло нелегкое; многіе пробуютъ, но у нихъ ничего не выходитъ: Андрееву оно удавалось отлично; тутъ было истинное его призваніе: испытывать смертельный отчаянный ужасъ. Этотъ ужасъ чувствуется во всѣхъ его книгахъ, и я думаю, что именно отъ этого ужаса онъ спасался, хватаясь за цвѣтную фотографію, граммофоны, живопись. Ему нужно было хоть чѣмъ-нибудь загородиться отъ тошнотворныхъ приливовъ отчаянія. Въ страшные послѣреволюціонные годы, когда въ Россіи свирѣпствовала эпидемія самоубійствъ, Андреевъ противъ воли сталъ вождемъ и апостоломъ этихъ уходящихъ изъ жизни. Они чуяли въ немъ — и своего. Помню, онъ показывалъ мнѣ цѣлую коллекцію предсмертныхъ записокъ, адресованныхъ ему самоубійцами. Очевидно, у тѣхъ установился обычай: прежде чѣмъ покончить съ собой, послать письмо Леониду Андрееву.

Иногда это казалось страннымъ. Иногда, глядя на него, какъ онъ хозяйскимъ, увѣреннымъ шагомъ гуляетъ у себя во дворѣ, среди барскихъ конюшенъ и службъ, въ сопровожденіи Тюхи, великолѣпнаго пса, — или какъ въ бархатной курткѣ онъ позируетъ передъ заѣзжимъ фотографомъ, вы не вѣрили, чтобы этотъ человекъ могъ носить въ себѣ

трагическое чувство вѣчности, небытія, хаоса, міровой пустоты. Но духъ дышетъ, гдѣ хочеть, — и этимъ чувствомъ міровой пустоты была насыщена вся жизнь Андреева. Это чувство придавало его творчеству своеобразный философскій колоритъ, ибо невозможно всю жизнь думать о міровой пустотѣ и о вѣчности и не стать въ концѣ концовъ метафизикомъ. Въ томъ-то и заключалась особенность его писательской личности, что онъ, — плохо ли, хорошо ли, — всегда въ своихъ книгахъ касался извѣчныхъ вопросовъ, метафизическихъ, трансцендентныхъ темъ. Другія темы не волновали его. Та литературная группа, среди которой онъ нечаянно оказался въ началѣ своего писательскаго поприща: Горькій, Чириковъ, Скиталецъ, Купринъ, — была внутренне чужда Леониду Андрееву. То были бытописатели, бытовики, волнуемые вопросами быта, а не бытія, а онъ среди нихъ былъ единственный, кто задумался о вѣчномъ и трагическомъ. Онъ — трагикъ по самому своему существу, и весь его экстатическій, эффектный, чисто театральный талантъ, влекущійся къ помпѣзному стилю, къ традиціоннымъ преувеличеннымъ формамъ былъ лучше всего приспособленъ для метафизико-трагическихъ сюжетовъ.

*

*

*

Что сказать о самомъ главномъ — о его творчествѣ? О его творчествѣ мы знаемъ такъ мало. Писалъ онъ почти всегда ночью, — я не помню ни одной его вещи, которая была бы написана днемъ.

Написавъ и напечатавъ свою вещь, онъ становился къ ней странно равнодушенъ, словно пресытился ею, не думалъ о ней. Онъ умѣлъ отдаваться лишь той, которая еще не написана. Когда онъ писалъ какую-нибудь повѣсть или пьесу, онъ могъ говорить только о ней: ему казалось, что она будетъ лучшее, величайшее, непревзойденное его произведение. Онъ ревновалъ ее ко всѣмъ своимъ прежнимъ вещамъ. Онъ обижался, если вамъ нравилось то, что было написано лѣтъ десять тому назадъ. Передѣлывать написанное онъ не умѣлъ: вкуса у него было гораздо меньше, чѣмъ таланта. Его произведения по самому существу своему были экспромптами. Когда онъ былъ охваченъ какой-нибудь темой, всякая ничтожная мелочь вовлекалась имъ въ кругъ этой темы. Я помню, какъ, прїѣхавъ однажды въ Куоккало ночью, онъ взялъ извозчика и заплатилъ ему рубль. Финляндецъ обидѣлся и сказалъ съ упрямымъ лаконизмомъ:

— Мнѣ не надо рубль.

Андреевъ прибавилъ финляндцу полтинникъ, и черезъ нѣсколько дней въ «Повѣсти о семи повѣшенныхъ» появился мутноглазый Янсонъ, упрямо повторяющій судьямъ:

— Меня не надо вѣшать.. Меня не надо вѣшать.

Незначительный эпизодъ съ извозчикомъ превратился въ центральное эффектное мѣсто театрально-патетической повѣсти. Такое умѣніе придавать неожиданную художественную цѣнность тому, что казалось ничтожнымъ и мелкимъ, всегда было сильной стороной Андреева.

Однажды ему попалась газета «Одесскія Новости», гдѣ извѣстный авіаторъ Уточкинъ, описывая свой полѣтъ, говорилъ:

— При закатѣ солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна.

Такое любованіе «нашей тюрьмой» очень поразило Андреева, и черезъ нѣсколько дней онъ уже писалъ свою знаменитую повѣсть «Мои записки» о человѣкѣ, полюбившемъ свою тюрьму, — и закончилъ ее тѣми же словами:

— При закатѣ солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна! —

Причемъ придавъ этимъ словамъ неожиданный грандіозный метафизическій смыслъ.

Александръ Блокъ.

Воспоминанія мои совершенно почти лишены фактическаго содержанія, но связаны съ Л. Андреевымъ мы были, и при рѣдкихъ встрѣчахъ заявляли другъ другу объ этой связи съ досаднымъ косноязычіемъ и неловкостью, которыя немедленно охлаждали насъ и взаимно отчуждали другъ отъ друга.

Потому всё, что я могу сейчасъ сказать, будетъ нерадостно и невесело. Будетъ разсказъ, какихъ немало, — о людяхъ, которые кое-что другъ про друга знали *про себя*, а воплотить это знаніе, пустить его въ дѣло не умѣли, не могли или не хотѣли. Я объ этомъ говорю такъ смѣло потому, что не на мнѣ одномъ лежитъ вина въ духовномъ одиночествѣ, а много насъ, — всѣ мы почти духовно одиноки.

Исторія тѣхъ лѣтъ, которыя русскіе художники провели между двумя революціями, есть въ сущности исторія *одинокихъ восторженныхъ состояній*; это и есть лучшее, что было, и что принесло настоящіе плоды.

Мнѣ скажутъ, что были въ эти годы литературные кружки, были журналы и издательства, вокругъ которыхъ собирались люди одного направленія, возникли цѣлыя школы. Всё это было, или скорѣе казалось, что было, но всё это нисколько не убѣждаетъ меня, потому что плодовъ всего это-

го я не вижу; плодовъ этихъ нѣтъ, потому что ничего органическаго въ этомъ не было. Напротивъ, проживъ въ Петербургѣ послѣдніе два года, я все больше утверждаюсь во мнѣніи, что замѣчательные русскіе журналы, «Старые Годы» или «Аполлонъ», на примѣръ, были какими-то сумасшедшими начинаніями; перелистывая сейчасъ эти перлы типографскаго искусства, я серьезно готовъ сойти съ ума, задавая себѣ вопросъ, какъ сумѣли ихъ руководители не почувствовать, во что превратимся мы, чѣмъ станемъ черезъ 3—4 года.

Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что, вѣроятно, и даже навѣрное, и эти люди знали одинокія восторженныя состоянія; зналъ ихъ и Л. Андреевъ, но представить себѣ Л. Андреева вмѣстѣ съ редакторомъ «Старыхъ Годовъ» было бы невозможно; представить ихъ вмѣстѣ можно было бы лишь въ карикатурѣ. Гораздо ближе ему были нѣкоторые символисты, въ частности Андрей Бѣлый и я, о чемъ онъ говорилъ мнѣ не разъ. И, несмотря на такую близость, ничего не вышло и изъ нея.

Связь моя съ Л. Андреевымъ установилась и опредѣлилась сразу задолго до знакомства съ нимъ; ничего къ ней не прибавило это знакомство; я помню потрясеніе, которое я испытывалъ при чтеніи «Жизни Василя Фивейскаго» въ усадьбѣ, осенней дождливой ночью. Сейчасъ отъ этихъ родныхъ мѣстъ, гдѣ я провелъ лучшія времена жизни, ничего не осталось; можетъ быть только старыя липы шумять, если и съ нихъ не содрали кожу. А что тамъ неблагополучно, что вездѣ неблагополучно, что катастрофа близка, что ужась при

дверяхъ, — это я зналъ очень давно, зналъ еще передъ первой революціей, и вотъ на это мое знаніе сразу отвѣтила мнѣ «Жизнь Василя Оивейскаго», потомъ «Красный смѣхъ», потомъ — особенно ярко — маленькій рассказъ «Воръ». О рассказѣ этомъ я написалъ рецензію, которая была помѣщена въ журналѣ «Вопросы Жизни», рецензія попалась въ руки Л. Андрееву и, какъ мнѣ говорили, понравилась ему; что она ему должна была понравиться, я зналъ — не потому, что она была хвалебная, а потому, что въ ней я перекликнулся съ нимъ, — вѣрнѣе не съ нимъ, а съ тѣмъ хаосомъ, который онъ въ себѣ носилъ; не носилъ, а таскалъ, какъ-то волочилъ за собой, дразнился имъ, способенъ былъ иногда демонстрировать этотъ подлинный хаосъ какъ попугая или комнатную собачку, такъ что всѣ чопорные люди, окружающіе его (а интеллигенція была очень чопорная, потому что дровъ она тогда еще не рубила и ведеръ съ водой на седьмые этажи не таскала), окончательно переставали вѣрить въ этотъ подлинный хаосъ.

Такъ вотъ перекликнулись два наши хаоса, и вышло, что ко времени личнаго знакомства, Леонидъ Андреевъ уже зналъ, что существуетъ такой Александръ Блокъ, съ которымъ гдѣ-то, какъ-то и для чего-то надо встрѣтиться, и онъ окажется не чужимъ.

Только что кончилъ я курсъ въ университетѣ и превратился въ литератора, который, какъ и другіе, ходилъ въ штатскомъ платьѣ и просилъ авансовъ въ разныхъ мѣстахъ. При одномъ изъ

такихъ случаевъ, совершенно не помню гдѣ, познакомились мы съ Леонидомъ Николаевичемъ. Знакомаго хаоса никакого я не нашель, передо мной былъ просто очень извѣстный уже писатель; я страшно стѣснялся всѣхъ извѣстныхъ писателей; Андреевъ тоже не зналъ, должно быть, съ чего начать разговоръ. Скоро онъ пригласилъ меня къ себѣ; я пошелъ; Андреевъ жилъ на Каменноостровскомъ, въ домѣ страшно мрачномъ, въ которомъ, я зналъ, есть передвижныя переборки у комнатъ.

Я помню хлещущій осенній ливень, мокрую ночь. Огромная комната — угловая, съ фонаремъ, и окна этого фонаря расположены въ направленіи острововъ и Финляндіи. Подойдешь къ окну, — и убѣгаютъ фонари Каменноостровскаго цѣпью въ мокрую даль.

Въ комнатѣ — масса людей, всѣ почти писатели, много извѣстныхъ; но о чемъ говорятъ, неизвѣстно; никто ни съ кѣмъ не связанъ, между всѣми чернѣютъ провалы, какъ за окномъ, и самый отдѣленный отъ всѣхъ, — самый одинокій, — Л. Н. Андреевъ; и чѣмъ онъ милѣе, чѣмъ онъ любезнѣе какъ хозяинъ, тѣмъ болѣе одинокъ. Вотъ и все впечатлѣніе, которое у меня осталось. Оно усугубляется еще пригласительнымъ письмомъ, которое составлено въ шутовой формѣ; — такъ шутить очень мило, это показываетъ, какъ просто ведетъ себя извѣстный человѣкъ, и всѣ улыбнутся, но никому не станетъ весело.

Въ тотъ же вечеръ, на фонѣ мокрой дали съ цѣпочкой фонарей, былъ мнѣ милъ Л. Андреевъ,

милѣ, чѣмъ въ нѣкоторые другіе разы, потому что онъ, сколько я помню, былъ простъ и немного застѣнчивъ, и не демонстрировалъ своего хаоса, своей страшной комнатной собачки, которая тѣмъ и страшна, что, когда ее увидишь, не испугаешься, а невидимую — чувствуешь.

Описанный вечеръ былъ осенью 1906 года, а въ 1907 г., «во второй половинѣ сезона», была впервые поставлена у Коммисаржевской, въ театрѣ на Офицерской, «Жизнь Человѣка», произведеніе, которое очень глубоко задѣло Андрея Бѣлаго и меня. Опять я помню при этомъ не Леонида Андреева, знаменитаго человѣка въ курткѣ особаго покроя, а его атмосферу, тотъ воздухъ, который окружалъ его, и который сумѣли тогда перенести на сцену такъ, какъ не сумѣли этого сдѣлать позже даже въ Художественномъ Театрѣ. Было въ нѣкоторыхъ актерахъ и въ режиссерѣ труппы Коммисаржевской что-то родственное Андрееву; даже слабымъ довольно актерамъ удалось разбудить въ себѣ тотъ хаосъ, который такъ неотступно слѣдовалъ за нимъ.

Въ «Жизни Человѣка», какъ во всемъ рядѣ произведеній Андреева, который открывается этой пьесой, поставленъ нелѣпый, досадный вопросъ, который предлагаютъ дѣти: «Зачѣмъ?» Что ни скажешь ребенку, онъ спрашиваетъ: «Зачѣмъ?» Взрослые на этотъ вопросъ ничего не въ состояніи отвѣтить; но они также не въ состояніи признать-ся въ томъ, что они не могутъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Просто — «глупый вопросъ», «дѣтскій вопросъ»; вотъ то, что мнѣ лично кажется

самымъ драгоценнымъ въ Л. Андреевъ; онъ всегда задавалъ этотъ вопросъ, и былъ трижды правъ, задавая его, потому что вотъ сейчасъ этотъ самый вопросъ задаетъ цивилизации великое дитя — Россія, а отвѣтить на него такъ, чтобы за нимъ не послѣдовало опять второе, полуравнодушное, полукапризное «Зачѣмъ?» — никто не можетъ.

Леонидъ Андреевъ задавалъ этотъ вопросъ отъ самой глубины своей, неотступно и безсознательно. Сознательно онъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, умствовалъ и самъ способенъ былъ отвѣтить на него не разъ взрослое взрослому, глупѣе глупаго. Но была въ немъ эта драгоценная, непочатая, хаотическая, мутная глубь, изъ которой кто-то въ немъ сидящій спрашивалъ: «Зачѣмъ?» «Зачѣмъ?» «Зачѣмъ?» и бился головой о стѣну большой, модно обставленной, постылой хоромины, въ которой жилъ извѣстный писатель Леонидъ Андреевъ, среди мебели новаго стиля.

Кажется, «Жизнь Человѣка» въ этомъ смыслѣ — самая автобіографическая пьеса. Мнѣ привелось смотрѣть ее со сцены, чѣмъ я обязанъ режиссерскимъ трюкамъ Мейерхольда. Никогда не забуду потрясающаго впечатлѣнія отъ первой картины. Была она поставлена «на сукнахъ». Въ глубинѣ стоялъ диванчикъ со старухами и ширма, а впереди — круглый столъ со стульями кругомъ. Сцена освѣщалась только лампой на столѣ и узкимъ круглымъ пятномъ верхняго свѣта. Такимъ образомъ, стоя въ темнотѣ, почти рядомъ съ актерами, я смотрѣлъ на театръ, на вспыхивающіе тамъ

и сямъ рубины биноклей. «Жизнь Человѣка» шла рядомъ со мной, рядомъ пронзительно кричала въ родахъ мать, рядомъ нервно бѣгалъ по діагонали докторъ въ бѣломъ фартукѣ, съ папиросой; и, главное, рядомъ стояла четырехугольная спина «Нѣкто въ сѣромъ», который изъ столба матоваго свѣта бросалъ въ театръ свои слова.

Эти слова казались и кажутся многимъ пошлостью. Я помню, что они смертельно надоѣли и великолѣпно произносившему ихъ актеру — К. В. Бравичу, тоже уже покойному теперь. Но что-то есть въ этихъ словахъ, что меня до сихъ поръ волнуетъ...

Андрей Бѣлый называлъ то, чѣмъ проникнута эта пьеса, «рыдающимъ отчаяньемъ». Это — правда, рыдающее отчаяніе вырывалось изъ груди Леонида Андреева не разъ, и нѣкоторые изъ насъ были ему за это бесконечно благодарны.

Помню потомъ также поразившую меня «Повѣсть объ Іудѣ». Потомъ меня ничто уже не поражало, но я твердо зналъ, о «чемъ» Леонидъ Андреевъ, и Леонидъ Андреевъ зналъ, о чемъ мы бы могли съ нимъ быть. «О чемъ быть», говорю я, а что это значитъ, — не знаю, и онъ не зналъ. Черезъ годъ писалъ мнѣ Андреевъ: «Сколько разъ я къ Вамъ собирался, какъ хотѣлъ Васъ повидать, — и всё не приходится, всё не приходится... Почему мы съ Вами идемъ противъ судьбы?» — Но мы не увидались.

Прошелъ еще годъ; онъ какъ будто нашелъ реальный поводъ для нашей встрѣчи (это была моя пьеса «Пѣсня Судьбы», которая ему, впро-

чемъ, очень не нравилась), но и изъ этого ничего не вышло. Я ему отвѣтилъ, не желая обижать его, но онъ немножко обидѣлся. Былъ уже 1909 годъ; тучи реакціи сгустились. Я тогда уѣхалъ въ Италію, гдѣ обожгло меня искусство, обожгло такъ, что я сталъ дичиться современной литературы и литераторовъ заодно. Еще много было причинъ, почему я почти со всѣми пересталъ видѣться и ушелъ въ свои «одинокіе восторги». Леонидъ Андреевъ тѣмъ временемъ тоже уже былъ другой, въ немъ накопилось много всякой обиды, слава его была громка, но критика его не щадила, а онъ былъ къ ней странно внимателенъ.

Въ 1911 году опять почему-то вспомнилъ онъ меня, — поводомъ было одно изъ моихъ стихотвореній; «нужно ли это писать Вамъ или нѣтъ, не знаю», прибавляетъ онъ въ письмѣ, «можетъ и не нужно». Прислалъ «Сашку Жегулева», я ему, кажется, послалъ книги; тѣмъ дѣло и кончилось; не помню, встрѣчались ли мы еще, до такой степени незначительны были слова, сказанныя другъ другу, если мы и встрѣчались.

Въ концѣ 1916 года вернулся я въ Петербургъ не надолго въ отпускъ и нашелъ очень милое письмо, которымъ Л. Н. звалъ меня принять участіе въ газетѣ «Русская Воля», гдѣ онъ редактировалъ литературный и театральный отдѣлъ. Въ письмѣ этомъ были слова о томъ, что газету «зовутъ банковской, германофильской, министерской, — и всё это ложь». Мнѣ всё уши прожужжали о томъ, что это — газета протопоповская, и я отказался. Л. Н. очень обидѣлся, при-

слалъ обиженное письмо. Отпускъ мой кончился, и я уѣхалъ, не отвѣтивъ. На томъ и кончилось наше личное знакомство — навсегда уже.

Сравнительно съ тѣмъ, что знали мы съ Андреевымъ другъ о другѣ гдѣ-то въ глубинѣ, — всѣ встрѣчи и письма, а тѣмъ болѣе разговоры о іудаизмѣ, Протопоповѣ, германофильствѣ и т. д., были сплошнымъ вздоромъ, бессмысленной пошлостью. И однако, если бы сейчасъ оказался въ живыхъ Л. Н., и мы бы съ нимъ встрѣтились опять, мы бы также не нашли никакихъ общихъ темъ для разговора, кромѣ коммунизма или развороченной мостовой на Моховой улицѣ.

Мы встрѣчались и перекликались независимо отъ личнаго знакомства — чаще въ «хаосѣ», рѣже — въ «одинокихъ восторженныхъ состояніяхъ». Знаю о немъ хорошо одно, что главный Леонидъ Андреевъ, который жилъ въ писателѣ Леонидѣ Николаевичѣ, былъ безконечно одинокъ, непризнанъ и всегда обращенъ лицомъ въ провалъ чернаго окна, которое выходитъ въ сторону острововъ и Финляндіи, въ сырую ночь, въ осенній ливень, который мы съ нимъ любили одной любовью. Въ такое окно и пришла къ нему послѣдняя гостя въ черной маскѣ — смерть.

29 октября 1919 г.

Георгій Чулковъ.

Георгій Чулковъ.

I

Я познакомился съ Л. Н. Андреевымъ въ редакціи московской газеты «Курьеръ» въ 1899 году, гдѣ онъ печаталъ тогда свои рассказы и фельетоны. Мы встрѣчались съ нимъ довольно часто въ теченіе двухъ лѣтъ, пока, въ концѣ 1901 года, меня не арестовали и не отправили въ Якутскую область. Какимъ далекимъ и непонятнымъ кажется теперь тотъ міръ, тотъ бытъ: не вѣрится, что прошло всего лишь двадцать лѣтъ, а не два столѣтія. Какое полусонное царство было тогда вокругъ насъ! Россія Николая II жила еще тогда медлительною, тяжелою и грузною жизнью, шла куда-то слѣпая — какъ будто руководимая тѣнью Александра III. Мы еще не предчувствовали тогда надвигавшейся на Россію японской опасности; мы жили, не страшась бурь и непогоды, жалуясь лишь на душное однообразіе той опеки, которая тяготѣла надъ словомъ, надъ жизнью, надъ всѣмъ этимъ чеховскимъ міромъ, такимъ тѣснымъ, малымъ и безвольнымъ. Казалось, что всё такъ прочно, такъ незыблемо, что развѣ наши внуки увидятъ Россію иною. И вотъ, когда я встрѣчалъ Л. Н. Андреева въ московскихъ литературныхъ кружкахъ, я всегда чувствовалъ, что этотъ чело-вѣкъ какъ будто пришелъ изъ другой страны.

Не то, чтобы въ своемъ бытѣ, въ своихъ убѣжденіяхъ, взглядахъ и вкусахъ онъ былъ человѣкомъ, опередившимъ современниковъ: напротивъ, онъ былъ очень характеренъ для извѣстныхъ круговъ тогдашней литературной Москвы. Но было въ немъ что-то иное, чего опредѣлить вкусомъ или мнѣніями никакъ нельзя, и что дѣлало его одинокимъ и своеобразнымъ, несмотря на то «общее выраженіе», которое ему было свойственно какъ москвичу, писателю, какъ сотруднику «Курьера» или журнала «Жизнь», который издавался тогда въ Петербургѣ при ближайшемъ участіи Максима Горькаго.

Въ это время въ Москвѣ заявили уже о себѣ новые поэты, объединившіеся подъ знакомъ «Скорпіона». Эти люди, «зачинатели новаго искусства», въ извѣстномъ смыслѣ воистину были декадентами, то-есть выразителями «конца вѣка». Ихъ творчество было какъ бы ознаменованіемъ культурнаго перелома. Л. Н. Андреевъ къ ихъ кружку не принадлежалъ и не могъ принадлежать. Онъ былъ для нихъ «провинціаленъ», недостаточно «рафинированъ», и онъ не любилъ и не цѣнилъ этихъ людей, но въ своей бессознательной и внѣшними данными неоправданной сущности онъ былъ «ихъ поля ягода».

Жилъ тогда Л. Н. Андреевъ въ Грузинахъ. Быть вокругъ него былъ старомосковскій, среднеинтеллигентскій. Мать Леонида Николаевича, гостепріимная и радушная хозяйка, покойная первая жена его, юная и милая, веселая и нѣжная, сестра и братья, обожавшіе старшаго брата, кото-

рый былъ, кстати сказать, главою дома послѣ смерти отца: всё это было немного старомодно, немного провинціально. И вся семья съ добродушнымъ восхищеніемъ и ревнивою гордостью слѣдила за возраставшею славою любимаго Леонида. Въ домѣ Леонида Николаевича бывали почти всѣ московскіе литераторы. Изъ начинающихъ писателей встрѣчалъ я у Андреева Б. К. Зайцева, чей первый рассказъ «Волки», насколько я припоминаю, произвелъ на Андреева большое впечатлѣніе. Со многими литераторами Л. Н. Андреевъ былъ на ты. Съ внѣшней стороны какъ будто его жизнь сложилась благополучно: много друзей, любящая семья, литературный успѣхъ. Но въ Андреевѣ, въ самомъ Андреевѣ, въ его душѣ не было благополучія. И эта страшная тревога, мучительное безпокойство и какой-то бунтъ, «несогласіе во всемъ» — вотъ что было въ Андреевѣ новымъ и необычайнымъ.

Онъ былъ всегда на людяхъ, всегда съ пріятелями, но, можетъ быть, въ тогдашней Москвѣ не было болѣе одинокаго человѣка, болѣе оторвашагося отъ почвы и даже отъ міра, чѣмъ этотъ удачливый беллетристъ, обласканный Максимомъ Горькимъ и признанный Н. К. Михайловскимъ. Правда, въ нашей литературѣ были огромные таланты и огромныя личности — тоже одинокіе, тоже «непріемлющіе міра» — ихъ имена мы всѣ знаемъ, — но значеніе Леонида Андреева не умаляется: вѣщими тѣнями геніевъ. Личность Андреева опредѣлительна для своей эпохи, для своего времени. У него есть своя страница не только въ

исторіи русской повѣсти, но — что не менѣе важно, въ исторіи нашей духовной отчизны. Была въ Андреевѣ какая-то обреченность, какая-то гибель. Въ немъ не было ничего *буржуазнаго*. И хотя словечко это въ наши дни стало какимъ-то двусмысленнымъ, но вернуть ему его настоящее значеніе небезполезно. Въ Андреевѣ не было ничего буржуазнаго: ему вовсе не хотѣлось какъ-то — «мирно устроиться» и менѣе всего «почить на лаврахъ». И чѣмъ счастливѣе была его внѣшняя жизнь, тѣмъ безпокойнѣе онъ становился, тѣмъ болѣзненнѣе и острѣе чувствовалъ, что «такъ жить нельзя».

Онъ былъ однимъ изъ многихъ русскихъ скитальцевъ, но наши скитальцы Александровской и Николаевской эпохъ были почти всегда дворянами, наслѣдниками большой и старинной культуры: Леонидъ Андреевъ былъ скиталецъ-разночинецъ, безъ всякихъ культурныхъ корней по происхожденію и по воспитанію. Но онъ былъ сыномъ своего времени, онъ былъ весь въ предчувствіи катастрофы. А вѣдь наши малыя историческія катастрофы, паденіе того или иного соціального порядка, крушеніе той или иной формы государственности всегда отражаютъ въ себѣ общую катастрофичность исторіи и міра. И когда Тютчевъ, напримѣръ, по поводу паденія Севастополя говоритъ о концѣ міра, это вовсе не такъ ужъ неосторожно, ибо хронологія, сроки — иногда послѣднее дѣло. Много у насъ было растревоженныхъ людей и болѣе замѣчательныхъ, чѣмъ Андреевъ; многіе говорили, что скоро всему конецъ, но у Леонида Ан-

древа была своя собственная интонація, свой голосъ.

Я какъ сейчасъ вижу его шагающимъ по своему кабинету съ неугасающей папиросою въ рукахъ, съ блестящими глазами, съ горькой улыбкой и вѣчно повѣствующимъ о задуманномъ разсказѣ или о самомъ себѣ — и всегда въ какой-то лихорадкѣ, какъ будто ожидая чего-то страшнаго и послѣдняго. Но — странное дѣло — въ иныхъ людяхъ бываетъ непріятна и тягостна эта черта — говорить непременно о себѣ и о своемъ. Въ Леонидѣ Андреевѣ это было такъ неизбѣжно, такъ опредѣлялось самою сущностью его личности, что слушать его признанія и его лирической бредъ было вовсе не въ тягость. Что же ему, несчастному, когда у него ничего не было твердаго и прочнаго, на чемъ онъ могъ бы крѣпко стать и посмотреть на Божій міръ болѣе смиренно и болѣе мудро! Его разговоры о себѣ не были эгоизмомъ, они были его несчастіемъ, горемъ, болѣзнію, тоскою. И его нельзя было не любить именно такимъ — поглощеннымъ самимъ собою.

А что въ немъ не было ничего твердаго и крѣпкаго — объ этомъ свидѣлствуютъ и его собственные признанія. Вотъ что однажды онъ писалъ мнѣ: «Каждую свою вещь я хотѣлъ бы писать подъ новымъ именемъ. Мнѣ тяжело зависѣть отъ моего собственнаго прошлаго, отъ высказанныхъ мыслей, отъ промелькнувшихъ обѣщаній — я ничего не хочу обѣщать. Быть жертвою логики я не хочу. Свободно любить, плакать, смѣяться — вотъ. Сегодня я мистикъ и анархистъ — ладно;

но завтра я буду писать революціонныя вывѣски, какъ Танъ; а послѣ завтра я, быть можетъ, пойду къ Иверской съ молебномъ, а оттуда на пирогъ къ частному приставу»... И далѣе: «Повѣрьте мнѣ: я до изступленія ненавижу современное культурное челоувѣчество; я не принимаю жизни, какая она есть, и никогда не приму, но я не хочу выкидывать никакого знамени, даже знамени бунта»...

Но Л. Н. Андреевъ не только не строилъ и не могъ построить цѣльнаго міросозерцанія: онъ не хотѣлъ даже узнать и понять тѣхъ людей прошлаго, которые осмѣлились такое цѣльное міросозерцаніе утверждать. Онъ какъ будто боялся возможныхъ на себя вліяній.

Прежде, когда я былъ моложе, мнѣ казалось досаднымъ, что Андреевъ оправдываетъ афоризмы Пушкина — «мы лѣнны и нелюбопытны». Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ «лѣннъ и нелюбопытенъ» въ извѣстномъ смыслѣ. Онъ многого не зналъ, не успѣвъ въ студенческіе годы приобрести знанія, ибо тратилъ время и силы на заработокъ, занимался судебнымъ репортажемъ въ газетѣ и чѣмъ-то еще, а въ дни уже свободные отъ нужды жилъ по-прежнему, махнувъ рукою на то, что было завоевано челоувѣчествомъ. Мнѣ было досадно, что онъ все читаетъ и перечитываетъ романы съ приключеніями и какъ-то не хочетъ вникнуть въ глубину и многообразіе міровой культуры. Но теперь я понимаю, что ему нельзя уже было «учиться». Ничего путнаго изъ этого не вышло бы. Онъ бы не выдержалъ знанія, увялъ бы, поникъ

бы совсѣмъ, вдругъ догадавшись, что «Америка» уже открыта.

И дѣло не въ томъ, что онъ нерѣдко открывалъ «америки», а въ томъ, какъ онъ ихъ открывалъ. Удаченъ или неудаченъ былъ его стиль, глубока или неглубока его мысль, все равно самъ онъ, его личность, его буйство ума и его больное сердце были какъ вѣщіе знаки нашей судьбы. Онъ былъ жертвою за всѣхъ насъ. А тутъ ужъ надо шапку снять и поклониться, не критикуя. То, что въ Андреевѣ было — пусть иногда неудачное и безвкусное, — все было подлинное. Лгать и притворяться этотъ человѣкъ не хотѣлъ и не умѣлъ.

II

Какіе у него были «общественные» взгляды и убѣжденія? По правдѣ сказать, я затрудняюсь на это отвѣтить, несмотря на то, что я зналъ его — правда, съ большими перерывами — почти двадцать лѣтъ. И затрудняюсь я не потому, что въ бесѣдахъ съ Андреевымъ я проходилъ мимо этой темы или потому, что онъ избѣгалъ высказываться, а просто всякая «общественность» по существу Андрееву была чужда. Онъ, пожалуй, самъ не сознался бы въ этомъ. Онъ, кажется, былъ увѣренъ, что у него имѣются какія-то опредѣленныя мнѣнія на этотъ счетъ... Но вотъ теперь, припоминая наши встрѣчи, я чувствую, что самая тема общественности Леониду Андрееву была непонятна. Онъ могъ говорить какія угодно хорошія

слова о свободѣ или о социальной справедливости, но все это для него было чужое, не волнующее кровно, не первое. Первое только одно: смерть, «жизнь человѣка», частнаго, одинокаго, обреченнаго. «Умремъ! Умремъ! Всѣ умремъ!» — вотъ его крикъ, его вопль. И если онъ касался вопросовъ общественности, то всегда подѣ знакомѣ смерти. Таковъ и его «Разсказъ о семи повѣшенныхъ». Недавно, разбирая бумаги, я нашель у себя статью Леонида Николаевича. Не знаю, была ли она когда-нибудь напечатана. Онъ прислалъ мнѣ ея изъ-за границы и просилъ помѣстить въ одномъ изданіи, но, насколько я припоминаю, статью нельзя было почему-то напечатать. Статья посвящена памяти казненнаго революціонера Владимира Мазурина, котораго Леонидъ Николаевичъ зналъ лично. И въ этой статьѣ Андреевъ ни слова не говоритъ о томъ, какіе были взгляды у Мазурина, какія убѣжденія. Ему важно одно: вотъ жилъ милый человѣкъ, веселый, добрый, общительный, — пришла темная сила, и нѣтъ человѣка на землѣ. Это страшно, ужасно. Надо стонать и вопить. И тема поставлена не общественно, а лично.

Вторая моя встрѣча съ Леонидомъ Николаевичемъ произошла въ 1903 году въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ я послѣ ссылки жилъ подѣ гласнымъ надзоромъ полиціи. Въ это время въ Нижнемъ жилъ также А. М. Пѣшковъ, и къ нему приѣхалъ Андреевъ, кажется для участія въ какомъ-то литературномъ вечерѣ. Какимъ образомъ я тогда нашель Леонида Николаевича, или онъ меня, со-

вершенно не помню. Помню только, что мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ въ какомъ-то трактирѣ, что пріѣхаль въ этотъ трактиръ Андреевъ уже нетрезвый, и этотъ вечеръ остался въ моей памяти какъ одинъ изъ кошмарныхъ вечеровъ. Дѣло въ томъ, что до самыхъ послѣднихъ лѣтъ, до кануна войны съ Германіей, у Андреева бывали припадки острой тоски, и въ такіе сроки онъ тянулся къ хмелю неудержимо, съ мрачною и болѣзненною настойчивостью. Онъ вовсе не былъ кутилою. Не было у него и запоевъ. Но грусть его, переходившая иногда какой-то предѣлъ, разрѣшалась обыкновенно двумя-тремя днями хмельного дурмана. Онъ и тогда оставался вѣренъ себѣ, своей темѣ, своему страху смерти, но всѣ эти мучительныя мысли и слѣпныя чувства выростали у него въ огромныя фантастическія тѣни, и онъ съ ними вель бесѣду, многословно и запутанно, со страстью и со слезами.

Передать нашу тогдашнюю бесѣду или, вѣрнѣе, его монологъ я затрудняюсь. Это все было похоже на перепутанныя части его разсказовъ и повѣстей. Помню только, что я чувствовалъ тогда къ нему большую жалость, и все уговаривалъ его ѣхать поскорѣе къ женѣ въ Москву, на что онъ, наконецъ, не безъ труда согласился, и мы разстались съ нимъ на вокзалѣ. Онъ и на дорогу, въ вагонъ, захватилъ съ собою бутылку водки. Онъ шелъ по той же роковой дорожкѣ, по какой въ свое время шли такіе тоскующіе русскіе скитальцы, какъ Аполлонъ Григорьевъ или Глѣбъ Успенскій. Только у Аполлона Григорьева былъ

при этомъ разудалый размахъ, гитара и цыганщина, у Глѣба Успенскаго его мономанія, его «власть земли», а у Андреева, человѣка очень городскаго, его литературная истерика.

Я не говорю и не хочу говорить объ Андреевѣ какъ писателѣ. Я сейчасъ представляю себѣ его какъ человѣка, и вотъ какъ человѣкъ онъ былъ все-таки, несмотря ни на что, изъ той страны, изъ той духовной отчизны, гдѣ растетъ «голубой цвѣтокъ». Весь его болѣзненный хмель оправдывался тѣмъ, что въ сердцѣ у него всегда звучала какая-то пѣсня «не отъ міра сего». Андреевъ былъ романтикомъ, и романтикомъ своеобразнымъ. Въ немъ не было ни паэоса французскаго романтизма, ни отвлеченности и сложности романтизма нѣмецкаго. Но онъ былъ романтикомъ, ибо при всей своей религіозной слѣпотѣ одну религіозную правду онъ принялъ какъ живую и несомнѣнную реальность — это правду о вѣчно-женственной красотѣ, о возможной, но не существующей міровой гармоніи. Насколько отразился этотъ его душевный опытъ въ его рассказахъ, повѣстяхъ и драмахъ, — это другой вопросъ, но что такой внутренній опытъ у него былъ, — въ этомъ я не сомнѣваюсь.

Правда, эта полусознательная его любовь къ вѣчно-женственному началу, къ Таинственной Дамѣ, омрачалась горькой ироніей, но вовсе не въ духѣ тонкой ироніи нѣмецкихъ романтиковъ: у Андреева была какая-то грубоватая насмѣшливость надъ самимъ собою и надъ тѣми сомнительными воплощеніями Прекрасной Незнакомки, которыя

встрѣчались на его жизненномъ пути. Онъ былъ сантименталенъ и застѣнчивъ. За видимою самоувѣренностью и даже развязностью у Андреева всегда таилось недовольство собою и какое-то разочарованіе. Онъ оплакивалъ и себя, и ту, которая казалась ему въ какое-нибудь мгновеніе жизни прекрасной и загадочной.

Эта тема сближала его съ Александромъ Блокомъ. Изъ современныхъ поэтовъ онъ любилъ его больше всѣхъ. И это не случайно. Они оба угадывали что-то въ одномъ и томъ же потустороннемъ планѣ. Правда, Блокъ былъ всегда тоньше и значительнѣе Андреева, и за Блокомъ была большая культурная традиція. Его поэтическую тему можно найти и у Лермонтова, Фета, Аполлона Григорьева, Владиміра Соловьева, и у нѣмецкихъ романтиковъ — у Новалиса прежде всего. За Андреевымъ никакой традиціи не было. И корней у него не было. Онъ пришелъ какъ случайный человѣкъ, и потому былъ наивнѣе Блока. Но я очень хорошо помню, что на первомъ представленіи «Жизни Человѣка» въ театрѣ В. Э. Комиссаржевской поэтъ восхищался пьесою Андреева, хотя, кажется, мнѣніе его на этотъ счетъ потомъ измѣнилось.

Да, у Леонида Николаевича было это болѣзненное, самоубійственное уклоненіе отъ той правды, которую онъ смутно предчувствовалъ въ своихъ полупрозрачнѣхъ вѣчноженственного начала. И отсюда — эта хмельная грусть, эта горькая улыбка надъ собою и надъ міромъ. Осмыслить исторію и вообще подлинную жизнь человѣка онъ не могъ

и не хотѣлъ. Онъ какъ будто боялся даже всякой попытки найти въ жизни и въ мірѣ смыслъ, мудрость и путь. Въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ у Андреева вырвалось такое признаніе: «Куда я иду? А чортъ меня знаетъ, куда. Иду, и все тутъ»...

У него было даже прямое отвращеніе къ нашимъ современникамъ, которые пытались и пытаются строить цѣльное міровоззрѣніе. Исторіи философіи Леонидъ Николаевичъ не зналъ и философій никогда не занимался, но было одно исключеніе — это Шопенгауэръ. Онъ его прочелъ еще въ юности, и шопенгауэровскій пессимизмъ пришелся ему по душѣ.

III.

Я уже говорилъ, что зналъ Л. Н. Андреева почти двадцать лѣтъ, но иногда мы годами съ нимъ не видѣлись: то я жилъ за границей, то онъ куда-нибудь уѣзжалъ, но въ иные года мы встрѣчались съ нимъ довольно часто, особенно мнѣ памятны два лѣта въ Финляндіи. Мы встрѣчались съ нимъ иногда на дачѣ у покойнаго В. А. Сѣрова, а одно время Леонидъ Николаевичъ почти ежедневно бывалъ у меня. Я жилъ тогда какъ разъ недалеко отъ того мѣстечка, гдѣ онъ выстроилъ себѣ впоследствии виллу. Строилъ онъ ее по плану одного молодого архитектора и самъ принималъ живѣйшее участіе въ разработкѣ этого плана. И въ самомъ дѣлѣ домъ вышелъ совсѣмъ въ духѣ хозяина. Что-то въ немъ было мрачно-романтическое, въ

художественномъ отношеніи весьма сомнительное, и стилия его опредѣлить нельзя было никакъ, но надо признаться — въ немъ было своеобразіе, присущее и самому Андрееву. Было въ немъ холодно и неудобно. Не хотѣлъ уюта Леонидъ Николаевичъ. И особенно послѣ смерти своей первой жены онъ былъ всегда въ какомъ-то безпокойствѣ — даже тогда, когда вторично женился, и у него родились дѣти отъ второй супруги.

Но, несмотря на свою романтическую мрачность, Леонидъ Николаевичъ въ иныхъ отношеніяхъ былъ какъ-то ребячливъ, и занимали его какіе-то пустяки, какія-то игрушки. То онъ увлекался цвѣтной фотографіей, то диллетантски копировалъ какія-нибудь репродукціи съ художниковъ и, кажется, гордился своею работой, то, наконецъ, завелъ себѣ моторную лодку и въ костюмѣ моряка забавлялся маленькими путешествіями.

Въ литературѣ Андреевъ былъ такъ же безпріютенъ и одинокъ, какъ и въ жизни. Издавался онъ въ «Знаніи» Максима Горькаго, потомъ въ «Шиповникѣ», потомъ кое-что издалъ въ «Издательствѣ писателей», но своего литературнаго круга у него не было. Вездѣ онъ былъ случайнымъ гостемъ и внутренно ни съ кѣмъ не былъ связанъ. Напечаталъ онъ рассказъ и въ «Факелахъ», но, когда вышелъ альманахъ, былъ альманахомъ недоволенъ: въ альманахѣ преобладали символисты, а ихъ онъ боялся: они казались ему слишкомъ разсудочными, слишкомъ искусственными и холодными. Онъ только для Блока дѣлалъ исключеніе и зналъ его нѣкоторые стихи наизусть.

Прочихъ современныхъ поэтовъ онъ не цѣнилъ и не любилъ. Вотъ что онъ мнѣ писалъ однажды съ пристрастнымъ раздраженіемъ и съ явной запальчивостью: «Отъ послѣднихъ Сѣверныхъ Цвѣтовъ (Ассирійскихъ), которые я увидѣлъ только теперь, пахнетъ потомъ невыносимо. И какъ они не поймутъ, что разъ всѣ они такъ похожи другъ на друга, то, стало быть, одинъ изъ нихъ только правъ, а остальные лгутъ. Какіе-то парикмахеры отъ искусства, которые весь міръ завиваютъ какъ пуделя — Бога какъ пуделя — чортъ въ завитушкахъ — все въ завитушкахъ. И завитушки мелкія, и слова маленькія, маленькія — какое-то вырожденіе словъ. Такія маленькія. И недаромъ печатаются они мелкимъ шрифтомъ, — крупный для нихъ невозможенъ. — А что они сдѣлали съ любовью! Чѣмъ больше поютъ они про ея силу, величіе, мистичность, тѣмъ ничтожнѣе, слабѣе, глупѣе становится она. Поэты — они убиваютъ поэзію. Жужжація мухи съ тысячей взмаховъ крыла въ секунду — онѣ заставляютъ забыть объ орлиномъ полетѣ. Какое безсиліе!» — И далѣе: «Они убиваютъ поэзію. Въ Россіи нѣтъ больше стиховъ».

Въ Финляндіи мы иногда гуляли съ нимъ по окрестностямъ. На прогулкахъ онъ обыкновенно нервно курилъ папиросу за папиросой и неумолчно говорилъ о своихъ замыслахъ и планахъ. Онъ любилъ, повидимому, импровизировать, рассказывая о своихъ будущихъ повѣствованіяхъ. Иногда съ мнительной робостью онъ посматривалъ на собесѣдника, не скучаетъ ли тотъ, но перестать рассказывать ему было, видно, трудно.

Въ существѣ своемъ онъ былъ простодушень и добръ. И заднихъ мыслей у него никогда не было. Онъ шель ко всѣмъ съ открытой душою. И когда чувствовалъ холодность или скептицизмъ — со всѣмъ поникалъ.

Очень болѣзненно онъ относился къ враждебной критикѣ, которая за послѣдніе годы не скупилась на порицаніе его произведеній. Онъ былъ избалованъ похвалами, которыя ему большинство расточало на первыхъ порахъ его дѣятельности, и жадно искалъ внѣшней поддержки. Но ея не было, и онъ чувствовалъ себя какъ въ западнѣ.

Такъ жилъ Андреевъ двойною жизнью. Съ одной стороны, большая семья, много знакомыхъ, издатели, критики, репортеры, актеры и какіе-то безконечные случайные посѣтители: тутъ было много заботъ и суеты. Съ другой стороны, та внутренняя мучительная тревога, слѣпая и угрюмая, которая его терзала: тутъ одиноко сгорала его душа.

Однажды я пришелъ къ Андрееву, когда онъ жилъ въ Петербургѣ, въ большомъ домѣ на Петербургской сторонѣ. Меня встрѣтила его матушка и шопотомъ сообщила, что Леонидъ «заболѣлъ». Это значило, что онъ во хмелю. Я хотѣлъ было уйти, но Андреевъ услышалъ мой голосъ, вышелъ и повлекъ меня къ себѣ въ кабинетъ. Передъ нимъ стояла бутылка коньяку, и онъ продолжалъ пить, и было видно, что онъ пьетъ уже дня три. Онъ говорилъ о томъ, что жизнь вообще «дьявольская штука», а что его жизнь погибла: «ушла та, которая была для него звѣздою». — «Покойница!»

— говорилъ онъ шопотомъ таинственно и мрачно. Потомъ опустилъ голову на столъ и заплакалъ. И опять тотъ же таинственный шопоть и бредъ. Вдругъ онъ замолчалъ и сталъ прислушиваться, обернувшись къ стеклянной двери, которая, кажется, выходила на балконъ. «Слышите? — сказалъ онъ: — Она тутъ». И снова начался мучительный бредъ, и нельзя было понять, галлюцинируетъ онъ въ самомъ дѣлѣ, или это все понадобилось ему, чтобы выразить какъ-нибудь то загадочное и для него самого непонятное, что было у него тогда въ душѣ.

Я пишу эти строки въ январѣ 1920 года. Будущее Россіи темно и неизвѣстно. Но теперь мы знаемъ, что многія событія русской культурной жизни наканунѣ революціи имѣли особый смыслъ, вѣщій и значительный. Мы любили повторять, что Россія, культурная Россія, еще молода; мы, утомленные политической реакціей послѣднихъ царствованій, какъ-то не замѣчали, что духовная культура страны, несмотря на ветхія формы государственности, достигла своихъ вершинъ, что появленіе такъ называемыхъ декадентовъ вовсе не случайно, что они — подлинныя вѣстники культурнаго перелома. Такіе благоуханные, но ядовитые цвѣты могли вырасти лишь на почвѣ большой, себя пережившей культуры. Декаденты поработали немало надъ умами и сердцами современниковъ: «Нѣтъ никакихъ безусловныхъ цѣнностей. Все относительно. Посмѣяться можно надъ всѣмъ. Да и святыхъ никакихъ нѣтъ. Недурно было бы вообще

все послать къ чорту». Это было все сказано очень тонко и остроумно, а иными и не безъ демонической глубины. Леонидъ Андреевъ повторялъ то же самое, но при этомъ огорчался, скорбѣлъ и плакалъ: ему было жаль человѣка. Онъ бунтовалъ какъ декадентъ, но бунтъ его былъ какой-то женскій, истеричный и сантиментальный. Менѣе тонкій, чѣмъ поэты-декаденты, онъ былъ, пожалуй, болѣе характеренъ и опредѣлителенъ для нашего культурнаго безвременья, чѣмъ они. И, какъ личность, Андреевъ мнѣ всегда представляется не столько отравителемъ современнаго ему поколѣнія, сколько жертвою: его самого отравили и замучили тѣ странныя темныя силы, которыя незримо вошли въ нашу жизнь и разложили ее.

У Леонида Андреева былъ особый внутренній опытъ, скажемъ «мистическій» (я говорю это не на основаніи его писаній, а по личному впечатлѣнію), но религіозно Андреевъ былъ *слѣпой* человѣкъ и не зналъ, что ему дѣлать съ этимъ опытомъ. Въ немъ и тѣни не было того холоднаго цинизма, который присущъ упадочникамъ. Онъ былъ воистину хорошій человѣкъ, но человѣкъ замученный предчувствіями, растерявшійся и запутавшійся.

Но вотъ наступила для Россіи пора великихъ испытаній — мировая война съ Гогенцоллернами. Тогда сразу намѣтилась въ русскомъ обществѣ межа: тутъ одно поле, а тутъ иное. Надо было какъ-то непоколебимо рѣшить для себя вопросъ о томъ, съ кѣмъ ты, — вопросъ о Россіи, въ которую «можно только вѣрить» по слову поэта.

И у Андреева, несмотря на его маловѣрие, такая вѣра въ Россію нашлась.

Я вернулся изъ Италіи на восьмомъ мѣсяцѣ войны и въ эти дни видѣлъ Андреева. И вотъ тогда впервые я услышалъ отъ Андреева слова не о себѣ, а какія-то страстныя и рѣшительныя рѣчи о той, которую онъ чувствовалъ, очевидно, какъ мать, какъ что-то живое и личное, — о Россіи. Декадентъ, настоящій декадентъ такимъ языкомъ говорить не могъ. Можетъ быть, статьи Андреева о Россіи, Германіи и войнѣ были совсѣмъ неудачны, но для него, какъ человѣка, онѣ были важны. Важно и значительно было то, что за маревомъ его отчаянія нашлась у него все-таки гдѣ-то въ глубинѣ сердца тоска по отчизнѣ.

14 января 1920 г.

Борисъ Зайцевъ.

Въ 1901 году въ «Журналъ для всѣхъ» я прочиталъ маленькій рассказъ съ подписью: Леонидъ Андреевъ. Рассказъ мнѣ понравился чрезвычайно. Я забылъ его теперь. Знаю только, что рѣчь тамъ шла о разливѣ, чуть ли не подъ Пасху. Помню также, меня удивило — неужели *можетъ* быть талантливый писатель съ именемъ *Андреевъ*? Но скоро появилось еще нѣчто, вновь Андреева; это было «Молчаніе»; и стало ясно, что новая звѣзда вззошла на небѣ нашемъ.

Я рѣшилъ Андреева увидѣть. Мнѣ такъ сильно этого хотѣлось, что однажды сѣлъ я и поѣхалъ по Москвѣ, узналъ адресъ его въ «Курьерѣ» и махнулъ на Владимиро-Долгоруковскую. Тамъ долго искалъ его жилья; нашелъ высоко, въ которомъ-то этажѣ бѣдную квартирку и попалъ съ чернаго хода въ кухню, гдѣ стирали. Матушка его, простая и хорошая русская матушка, проводила меня къ сыну, въ *кабинетъ*. Этотъ кабинетъ былъ крошечный, съ окошкомъ на грязный дворъ, съ кожанымъ диваномъ и нехитрымъ столомъ, за которымъ молодой обладатель его писалъ первыя свои, острия и въ литературѣ нашей новыя писанья. Этотъ обладатель тоже очень мнѣ понравился. Первое — я нашелъ его красивымъ. У него тон-

кія черты, онъ брюнетъ, съ нѣскольکو южнымъ оттѣнкомъ, у него удивительные глаза: они темные, но сколько свѣта въ нихъ. Глаза эти я много лѣтъ потомъ наблюдалъ. Кажется, лучшее, что въ Андреевѣ было — это глаза (и гораздо хуже — руки). Все электрическое, нервное, раскаляющее, что въ натурѣ его заключалось, изливалось чрезъ глаза, въ видѣ свѣтовыхъ или эфирныхъ волнь.

Я его полюбилъ по-юношески, съ перваго же взгляда, съ перваго слова. Это удивительно былъ свой, мягкій, легкоплавкій, русскій, орловецъ; сразу же онъ взялъ къ явившемуся и робѣвшему такой простой и ласковый тонъ. Это трогало. И очень скоро показалось, что знакомы мы давно, очень давно; чуть ли не родственники.

Для меня встрѣча съ нимъ была опредѣляющей; онъ помогалъ мнѣ, ободрялъ, поддерживалъ; весь онъ, со своимъ талантомъ, возникавшей шумной славой, предсталъ мнѣ окномъ въ новый міръ — литературы, литераторовъ; и того больше, живымъ знаменемъ молодой литературной партіи. Эти именно годы были временемъ Sturm und Drang'a нашей литературы. Застрѣльщикомъ ея, въ художественной прозѣ, былъ Андреевъ. И тѣ, кто его любили, и тѣ, кто ругали, одинаково чувствовали, что явилось нѣчто рѣзко-свое, полное силы, нѣкоей дерзости, для текущей литературы — взрывчатое.

Отсюда тотъ шумъ, переходившій временами въ вопль, что поднялся вокругъ Андреева. Онъ какъ-то сразу поразилъ, вызвалъ восторгъ и раздраже-

ніе; и не прошло трехъ, четырехъ лѣтъ съ нашего знакомства, какъ его имя летало ужъ по Россіи. Слава сразу открылась ему. Но и сослужила плохую службу: вывела на базаръ, всячески стала трепать, язвить и отравлять.

Кажется, въ жизни Андреева (писательской, а можетъ быть и личной) годы 1901—1906 были самыми полными, радостными, бодрими. Все его существо летѣло тогда впередъ; онъ полонъ былъ силъ, писалъ рьяно; несмотря на самыя мрачныя «Бездны», на «Василія Фивейскаго» — полонъ былъ надеждъ, успѣховъ, и безжалостная жизнь не надломила еще его. Онъ только что женился на А. М. Вѣльгорской, нѣжной и тихой дѣвушкѣ. Свѣтлая рука чувствовалась надъ нимъ. На его бурную, страстную натуру, очень некрѣпкую, это вліяніе ложилось умѣряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской; но держались все этого же района — жили у сквера въ Грузинахъ, потомъ въ переулкѣ поблизости, и только разъ — на Прѣснѣ. Квартиры становились лучше; появлялся достатокъ. Часто люди бывали, чтенія. Въ тѣ времена процвѣталъ въ Москвѣ литературный кружокъ «Среда». По средамъ собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунинъ Иванъ, Бунинъ Юлій, Вересаевъ, Бѣлоусовъ, Тимковскій, Разумовскій и др. Изъ заѣзжихъ: Чеховъ, Горькій, Короленко. Бывали и Бальмонтъ и Брюсовъ. Каждый разъ что-нибудь читали. Много прочиталъ Андреевъ — думаю, всѣхъ больше. Онъ читалъ сдер-

жанно, нѣсколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свѣшивавшіеся на лобъ; въ лѣвой рукѣ папираса; иногда помахивалъ ею въ тактъ, и изъ-подъ опущеннаго лба вдругъ быстро взглядывалъ горячими своими глазами.

Меня навѣрно онъ гипнотизировалъ. Мнѣ все нравилось, и безраздѣльно, въ немъ и его писаніи. Въ спорахъ о прочитанномъ я всегда былъ на его сторонѣ. Впрочемъ, и вообще онъ имѣлъ тогда большой успѣхъ, очень всѣхъ возбуждалъ, хотя образъ его писаній мало подходилъ ко складу слушателей. Но на «Средѣ» держались просто, дружественно; духъ товарищеской благожелательности преобладалъ. И тогда даже, когда вещь корили, это дѣлалось необходимо. Вообще же это были московскіе, привѣтливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, нѣсколько провинціальныя, но хорошія своимъ гуманитарнымъ тономъ, воздухомъ яснымъ, дружелюбнымъ (иногда очень ужъ покойнымъ). Входя, многіе цѣловались; большинство было на *ты* (что особенно любилъ Андреевъ); давали другъ другу прозвища, похлопывали по плечамъ, смѣялись, острили — и въ концѣ концовъ, по стародавнему обычаю Москвы, — обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлѣбосольная и благодущная. Можно сказать и такъ, что писателю молодому хотѣлось больше молодости, возбужденія и новизны; всецѣло онъ туда не укладывался. Все же свой, великорусскій, мягкій и воспитывающій воздухъ среда «Среды» имѣла. Знаю, что и Андреевъ любилъ ее. А судьба рѣшила,

чтобы изъ членовъ ея онъ ушелъ первый — одинъ изъ самыхъ младшихъ.

Иногда я ходилъ къ нему по утрамъ — это значить, о чемъ-нибудь хотѣлось говорить «умномъ»; какъ порядочный писатель русскій, онъ вставалъ поздно; какъ москвичъ — безконечно распивалъ чай, наливалъ на блюдечко, дулъ, пилъ со вкусомъ; къ приходившему относился съ великимъ дружескимъ любіемъ. Можетъ быть и нехорошо были идти къ человѣку утромъ; можетъ быть и необязательно разговаривать такъ много; все же вспоминаешь съ удовольствіемъ объ этихъ утреннихъ, русскихъ разговорахъ гдѣ-нибудь на Прѣснѣ, при бѣломъ снѣгѣ съ улицы, деревьяхъ вдоль тротуаровъ, низко летѣ воронъ съ вѣтокъ на крышу дома. Говорили о Богѣ, смерти, о литературѣ, революціи, войнѣ, о чемъ угодно. Куря, шагая изъ угла въ уголъ, туша и зажигая новыя папиросы, Андреевъ долго, съ жаромъ ораторствовалъ. Говорилъ онъ неплохо. Но имѣлъ привычку злоупотреблять сравненіями и любилъ острить. Юморъ его былъ какой-то странный: и была въ немъ эта жилка, и чего-то не хватало. И во всякомъ случаѣ, въ его *писаніи* юморъ несвободенъ. Онъ не радуется.

Въ три Андреевъ обѣдалъ, а потомъ ложился спать, черта не европейская, какъ и во всемъ былъ онъ весьма далекъ отъ европейца. (Одѣвался въ поддевку, а позднѣе ходилъ въ бархатной курткѣ. Среди «передовыхъ» писателей была у насъ тогда мода одѣваться безобразно, дабы видомъ своимъ отрицать *буржуазность*). Проснувшись вече-

ромъ, часовъ въ восемь, опять пилъ крѣпкій чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тутъ онъ разогрѣвался; голова накалялась, и легко, непроизвольно рождала образы страшные, иногда чудовищные. Писаніе было для него опьянѣніемъ, очень сильнымъ; въ молодости, впрочемъ, онъ вообще пилъ; и, какъ рассказывалъ, наибольшая радость въ томъ заключалась, что уходилъ міръ обычный. Онъ погружался въ бредъ, въ мечты; и это лучше выходило, чѣмъ дѣйствительность. Студентомъ, послѣ попойки, въ цѣлой компаніи друзей, такихъ же фантазмагористовъ, онъ уѣхалъ разъ, безъ гроша денегъ, въ Петербургъ; тамъ прожили они, въ такомъ же трансѣ, цѣлую недѣлю; собирались даже чуть не вокругъ свѣта.

Неудивительно, что писанія утренняго, трезваго, какъ и вообще дисциплины, онъ не выносилъ. Ночь, чай, папирсы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда онъ дописывался до галлюцинацій. Помню его рассказъ, что когда онъ писалъ «Красный смѣхъ» и поворачивалъ голову къ двери, тамъ мелькало нѣчто, какъ бы уносящійся шлейфъ женскаго платья. Бредовое писаніе не было для него выдумкою или модой: такова вся его натура; былъ онъ человѣкомъ ирраціональнаго, какъ выразился бы Джемсъ — *суб-лиминальнаго*, сознанія. Его развязанное подсознаніе всегда стремилось въ ночь, таковъ его характеръ; но устремленіе это было подлинное, и его не безъ основанія ставили рядомъ съ Эдгаромъ По, котораго онъ зналъ, любилъ. На одномъ утреннемъ разговорѣ я спросилъ его:

— Для чего поэзія Эдгара По?

Онъ улынулся.

— Такъ Тимковскій можетъ спрашивать. Вы на Тимковского сейчасъ похожи.

Вопросъ, конечно, былъ неправильно поставленъ. Я не о жизненной пользѣ По спрашивалъ, а хотѣлъ себѣ уяснить, что *значитъ* его литература, что она *выражаетъ*. Андреевъ это, конечно, понималъ; и черезъ минуту сказалъ серьезно:

— Эдгаръ По говорить, что въ мірѣ есть Ночь. И это вѣрно.

Андреевъ самъ чувствовалъ Міровую Ночь, и ее выразилъ — писаніемъ своимъ.

Но не надо думать, что эта Ночь имъ вполне владѣла. Я уже говорилъ, что былъ въ Андреевѣ мягкій орловецъ, онъ любилъ теплый домашній бытъ, никогда въ немъ не умирала жилка московскаго студента легендарныхъ временъ; онъ любилъ русское, нашу природу, пруды и влажные, благоуханые вечера послѣ дождя въ Царицынѣ (подъ Москвою, гдѣ онъ жилъ лѣтомъ), бѣлыя березы и поля Бутова; любилъ закаты съ розовыми облаками; да и въ писаніи его кое-гдѣ, напр. въ «Жили-были», есть и свѣтъ, и цвѣтуція яблони, и славный дьяконъ. Я вспоминаю о немъ часто и охотно такъ: мы идемъ гдѣ-нибудь въ бѣлѣющемъ березовомъ лѣсочкѣ въ Бутовѣ. Май. Зеленъ нѣжна, пахуча. Бродятъ дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закатъ алѣетъ, и по желтой насыпи несется поѣздъ, въ бѣлыхъ или розовѣющихъ клубахъ. Съ полей вѣетъ просторомъ и привѣтомъ родной Россіи. Мы же идемъ легко, бы-

стро, и непремѣнно говоримъ взволнованно, для насъ — интересно. Вотъ онъ меня провожаетъ на платформѣ — въ своей широкополой, артистической шляпѣ, въ какой-нибудь синей рубашкѣ, съ летящимъ галстукомъ, съ возбужденными, черноблистающими глазами. Это оживленіе и возбужденіе такъ молодитъ! И такъ хороша молодость пылкими разговорами, одушевленіемъ, легкой влюбленностью. Поѣздъ, зарей вечерней, летитъ въ Москву; смотришь въ окно, вновь переживаешь пережитое, бредутъ мечты, и дома, возвратясь, заснешь не сразу.

При мнѣ Ночь, которую такъ чувствовалъ Андреевъ (и оттого на Бога возставалъ, много шумѣлъ) — эта Ночь впервые на него дохнула. Въ 1906 г. умерла его жена, отъ родовъ, въ Берлинѣ. Мы хоронили ее въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ, при жестокой стужѣ. Андреевъ же остался за границей. Изъ Германіи попалъ на Капри. Жилъ тамъ тяжело, бурно. Вотъ отрывокъ изъ его письма, 9 января 1907 г. «Для меня жизнь такъ: нѣсколько людей, которыхъ я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконецъ, звѣзды, и все это чужое. И если бы всѣ люди, немногіе, кого я люблю, вдругъ умерли бы, или забыли меня — я оглянулся бы и завылъ бы отъ ужаса и одиночества». Далѣе говоритъ, что хорошо, если бы мы съ женой приѣхали туда, и прибавляетъ вновь:

«Здорово я тутъ одинъ, несмотря на... Съ вами бы я могъ говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Мнѣ и пришлось встрѣтиться съ нимъ въ Ита-

ли, въ маѣ того же года; но говорить о томъ, о чемъ онъ писалъ, не случилось. Перебирая его письма, я наткнулся на открытку во Флоренцію: «Бду изъ Неаполя въ Берлинъ безостановочно, такъ что во Флоренціи можемъ увидаться только на минутку на вокзалѣ... Пожалуйста, приходи съ В. хоть на минутку!» Это «хоть на минутку!» и сейчасъ колетъ сердце: вотъ и не увидишь его больше, даже «на минутку!»

Мы съ женой въ свѣтлый, жаркій флорентійскій вечеръ вышли встрѣтить его, принесли букетъ розъ красныхъ (ими полна благословенная Флоренція). Въ грохотъ, съ пылью, влетѣлъ на скромный вокзалъ международный luxe, изъ перваго класса выскочилъ тотъ же Андреевъ, въ широкополой шляпѣ, съ летящимъ галстукомъ, въ артистической бархатной курткѣ, какъ знавалъ его я въ Бутовѣ, въ Москвѣ. Какъ и тогда, онъ ни слова не зналъ «по-заграничному»; въ купѣ оказалась матушка его, — ни себѣ, ни ей за весь день онъ не могъ достать «стакана чая». Матушка охала. Самъ онъ задыхался отъ жары въ бархатѣ своемъ, но глаза его такъ же блестяли, какъ и въ былые годы. Онъ нюхалъ наши розы; говорили мы быстро, безтолково, ибо некогда было, и черезъ нѣсколько минутъ онъ махалъ намъ букетомъ изъ окна поѣзда уходящаго. На мгновеніе я его увидалъ, и снова забурлилъ и загромыхалъ европейскій экспрессъ, подымая за собою пыль, унося людей московско-орловскихъ. А сейчасъ, вспоминая тѣ семнадцать лѣтъ, что зналъ Андреева, я чувствую, что рядомъ съ безконечностью, нась

разлучившею навѣки, тѣ года, куда легла чуть ли не вся его художническая жизнь, — не длиннѣй краткой минутки на вокзалѣ во Флоренціи, въ знойный, чудесный итальянскій вечеръ.

Съ этого года Андреевъ переѣхалъ въ Петербургъ. Можетъ быть, тяжело ему было заводить въ Москвѣ прочную, осѣдлую жизнь. Его душевное настроеніе было бурно-мрачное, съ какими-то срывами. Перегорало горе, и разъѣдало, но натура живая, страстная гнала впередъ. Онъ никакъ еще не зналъ, что сдѣлать, какъ наладиться. «Опять съ нѣкотораго времени», пишетъ онъ отъ 17 августа 1907 г., «день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краевъ налиты тоской. Что дѣлать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, въ сумасшедшій домъ тоже не хочу, а жизнь не выходитъ, а тоска, поистинѣ, невыносимая. И все о томъ же, о той же — Шурѣ, о ея смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздятъ одни и тѣ же мысли и сны. Сны! Ужасная, братъ, вещь, эти сны, — въ которыхъ она воскресаетъ и всю ночь поитъ меня дикою радостью, а на утро уходитъ».

Въ Москву онъ наѣзжалъ довольно часто. Нерѣдко останавливался въ «Лоскутной», вблизи Иверской и Историческаго музея. Жившій тамъ *европеецъ* П. Д. Боборыкинъ не безъ ужаса рассказывалъ: «представьте, я встаю въ шесть утра, къ девяти поработалъ уже; а онъ въ девять только возвращается». Петръ Дмитричъ, никогда за полночь не ложившійся, пившій минеральныя воды, носившій ослѣпительные воротнички, и нашъ Лео-

нидь Андреевъ — сосѣди по «Лоскутной»! О, Русь, Русь!

Въ это время помню я Андреева всегда на людяхъ, въ сутолокѣ, съ интервьюерами, на фонѣ шума, въ угарѣ. Это былъ годъ, когда впервые онъ вступилъ на путь театра, — путь, давшій ему славу еще шумнѣйшую, но и тернии очень острые. «Жизнь Человѣка» была первая его символическая трагедія, въ чертахъ схематически-условныхъ обнимавшая жизненный путь и судьбу «человѣка вообще». Это вещь роковая для него. Можно ее любить или не любить (я лично не влюбилъ съ перваго же чтенія); но надо сказать, что съ душевной, и писательской, и человѣческой судьбой Андреева связана она неразрывно. Въ ней кончился одинъ періодъ, начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизмъ, и яснѣе означился надломъ въ душѣ его. Въ ней есть и нѣчто пророческое о самой жизни автора — если пророчественность понимать широко. Умеръ Леонидъ Андреевъ не такъ, какъ погибаетъ Человѣкъ, и въ бѣдность онъ не впалъ, но нѣкоторый *наклонъ* жизни своей почувствовалъ.

«Жизнь Человѣка» имѣла крупный успѣхъ — въ Москвѣ въ Художественномъ, въ Петербургѣ у Мейерхольда. Андреевъ болѣе и больше увлекался театромъ. И болѣе и больше укрѣплялся въ Петербургѣ. Сталъ очень близокъ сильно успѣвавшему издательству «Шиповникъ», — въ альманахахъ издательства слылъ гвоздемъ. «Шиповникъ» же издавалъ его книги. Къ намъ, къ «Москвѣ», онъ питалъ чувства дружественныя по-прежнему;

когда бываль — самъ читаль свои пьесы, или присылаль читать рукописи на «Средахъ». Но находилъ, что Москва это «милая провинція», благодушная и теплая. Ему казалось въ Петербургѣ попрохладнѣй и построже.

Въ противопоставленіи столицъ есть своя правда; и недаромъ Пушкинъ не вполнѣ въ Москвѣ прижился (но недаромъ въ Петербургѣ и погибъ). Пушкинъ былъ остръ, крѣпокъ, мужественъ, Андреевъ легкоплавокъ и несдержанъ. Ему *казалось*, что воздухъ сѣвера, воды Финляндіи, ея лѣса и сумракъ ему ближе, чѣмъ березки Бутова. Вѣрно, что въ «Жизни Человѣка» не было ужъ мѣста для березокъ. Все-таки обращать Андреева, русака, бывшего московскаго студента въ мрачнаго отвлеченнаго философа, рѣшающаго судьбы міра въ шхерахъ Финляндіи съ помощью Мейерхольда, было жаль. Никто не вправѣ сказать, какимъ долженъ былъ быть путь его. Ему виднѣе было самому. Но можно, кажется, замѣтить, что его натура не укладывалась вся въ Финляндію и Мейерхольда.

Съ весны 1908 г. онъ поселился на своей дачѣ у Райволы, на Черной Рѣчкѣ. Эта дача очень выражала новый его курсъ; и шла, и не шла къ нему. Когда впервые подѣзжалъ я къ ней лѣтомъ, вечеромъ, она напомнила мнѣ фабрику: трубы, крыши огромныя, несуразная громоздкость. Въ ней жилъ все тотъ же черноволосый, съ блестящими глазами, въ бархатной курткѣ, Леонидъ Андреевъ, но уже начавшій жизнь иную: онъ женился, заводился новымъ очагомъ, былъ полонъ новыхъ плановъ, бо-

лѣе грандіозныхъ, чѣмъ ранѣе, и душа его болѣе была смятена славой, богатствомъ, жаждой допить до конца кубокъ жизни — кубокъ, казавшійся теперь неосушимымъ. Обстановка для писателя (въ Россіи) — пышная. Дача построена и отдѣлана въ стиль сѣвернаго модернъ, съ сѣверной крутою крышей съ балками подъ потолкомъ, съ мебелью по рисункамъ нѣмецкихъ выставокъ. Кто любитъ залу и фойе Художественнаго театра, тому понравилось бы и тамъ.

Мы много говорили очень дружественно, мнѣ хорошо было съ Андреевымъ, но жилище его говорило о нецѣльности, о томъ, что стиль все-таки не найденъ. Къ стилю не шла матушка изъ Орла, Настасья Николаевна, съ московско-орловскимъ говоромъ; не шли вѣчные самовары, кипѣвшіе съ утра до вечера, чуть не всю ночь; запахъ щей, безконечныя папиросы, нервность, мягкая развалистая походка хозяина, добрый взглядъ его глазъ, многія мелочи. Правда, стремленіе къ грандіозу находило нѣкое примѣненіе: нравилось смотрѣть съ башни въ морской бинокль на Финскій заливъ, наблюдать ночью звѣзды. Но какъ разъ рано утромъ слѣдующаго дня, проснувшись въ боковой комнатѣ для гостей, не совсѣмъ еще отдѣланной, я услыхаль, какъ двое маляровъ, снаружи малевавшихъ на подмосткахъ, напѣвали неторопливо простую, славную нашу пѣсню. Вотъ въ ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нѣтъ Финляндіи. Нѣтъ майоликовыхъ отдѣлокъ, матовыхъ кубовъ, нѣтъ модерна. Нѣтъ и «Жизни Человѣка».

На этой новой дачѣ написалъ Андреевъ: «Царя —

Голода», «Черныя Маски», «Анатэму», «Океанъ» и другое. Репортеры такъ описывали его дачу: «... Смотрящая съ пригорка въ свѣтлыя безглазые ночи, она кажется зловѣщей, пугающей, мрачной, какъ обитель одиночества или замокъ Смерти. И въ эти свѣтлыя безглазые ночи и внутри нея та же жуть и тотъ же мертвый свѣтъ».

Однимъ словомъ, для газетчика раздолье. А вотъ жизнь:

«И каждый вечеръ и часть ночи Андреевъ сидѣлъ въ кабинетѣ, будто перенесенномъ со сцены, изъ «Жизни Человѣка», со стѣнами, обитыми сѣрозеленымъ сукномъ, библіотекой въ нишѣ, большими, растянутыми въ ширину окнами, — полною полумрака и таинственности и красоты, освѣщенномъ немногими парными свѣчами».

Надо сказать — критики, хроникеры, репортеры, столь идеально описывавшіе его жизнь, сыграли для него въ этотъ періодъ большую и тягостную роль. Разжигали они его и язвили. Хорошо было удалиться изъ столицы, но это не было удаленіемъ въ Ясную Поляну, столица перекочевала къ нему въ самомъ суетномъ и жалкомъ обликѣ; взвинчивала, гнала къ успѣху, славѣ, шуму и обманывала. Кто не любитъ обольщенія, успѣха? Андреевъ жадно его вкусилъ и не могъ уже забыть; не могъ ужъ жить, чтобы не писали, не шумѣли, не хвалили. Не знаю даже, могъ ли онъ теперь писать лишь для себя, внѣ публики. Онъ ненавидѣлъ публику и поклонялся ей. Онъ презиралъ газетчиковъ, освободиться же отъ нихъ не могъ. Для славы нужны были эти маленькіе люди, налетавшіе

роями, которымъ онъ рассказывалъ о своей жизни, замыслахъ, писаніяхъ; сердился, что рассказываетъ, и на завтра вновь рассказывалъ. Они печатали нелѣпные свои отчеты, интервью, раздражавшіе друзей Андреева, а врагамъ дававшіе матеріалъ для издѣвательствъ. Вся эта чушь газетная, въ морѣ вырѣзокъ съ отчетами о пьесахъ, отзывахъ, критиками, бранью, клеветой, замѣтками, каждый день прitekала къ нему и одурманивала душу. Врядъ ли чувствовалъ онъ себя хорошо. Тѣмъ болѣе, что все настойчивѣе въ критикѣ твердили объ упадкѣ дарованія.

Но можетъ быть, чѣмъ сумбурнѣе, грубѣй и ядовитѣй насѣдала жизнь, тѣмъ болѣе міръ вставалъ передъ фантазіей его, тотъ міръ, куда онъ погружался при работѣ или просто при мечтаніяхъ. Вотъ что говоритъ онъ въ письмахъ этого періода о *второй дѣйствительности*. «Съ каждымъ уходящимъ годомъ я все равнодушнѣй къ первой дѣйствительности, ибо въ ней только я рабъ, мужъ и отецъ, головныя боли и съ прискорбіемъ извѣщаемъ. Сама природа, — всѣ эти моря, облака и запахи я долженъ приспособить для приѣма внутрь, а въ сыромъ видѣ они слишкомъ физика и химія. То же и съ людьми: они становятся интересны для меня съ того момента, какъ о нихъ начинается писаться исторія, то-есть ложь, то-есть все та же наша единственная правда. Я не дѣлаю изъ этого теоріи, но для меня воображаемое всегда было выше сущаго, и самую сильную любовь я испытывалъ во снѣ. Поэтому я, пока не сдѣлался писателемъ и не освободилъ въ

себѣ способности воображенія, такъ любилъ пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флоберъ, столь безконечно далекій отъ Андреева, говоритъ гдѣ-то въ письмѣ: *la vie n'est supportable qu'en travaillant*, и, правда, одурманивалъ себя работой. Для Андреева, какъ писателя настоящаго, смыслъ этихъ лѣтъ, годовъ зрѣлости, такъ же, видимо, сводился къ работѣ, какъ наркозу, уводящему отъ *скучной* дѣйствительности. «Сколько скучныхъ дней и просто неинтересныхъ людей въ первой дѣйствительности! А въ моей всѣ дни интересны, даже дождливые, и всѣ люди интересны, даже самые глупые. Сейчасъ за окнами моросить, просто моросить, и нѣтъ ничего, кромѣ просто мокрой Финляндіи и озноба въ сплнѣ, — а начни описывать, и получится интересно, явится настроеніе; и чѣмъ правдивѣе я буду изображать, тѣмъ меньше останется правды. *Ибо само слово принадлежитъ ко второй дѣйствительности*, само по себѣ оно картина, разсказъ, сочиненіе».

Впрочемъ, онъ оговаривается: не вся дѣйствительность презрѣнна.

... «Не скажу даже, чтобы я былъ правъ, такъ настоятельно и убѣжденно предпочитая воображаемое существу, и если устроить между ними состязаніе, то *окончательная, послѣдняя* красота будетъ на сторонѣ послѣдняго. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные въ пространствѣ и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встрѣтить. Немало на свѣтѣ красивыхъ людей, а разстояніе между

ними — словно между звѣздами; и одинъ еще не родился, а другой давно умеръ. Пусть даже живеть, но или онъ далеко безконечно, либо говорить на другомъ языкѣ, либо я совсѣмъ не знаю о его существованіи. Вѣдь всѣ эти, кого мы любимъ и считаемъ настоящими друзьями, Данте, Иисусъ, Достоевскій существуютъ только въ воображеніи нашемъ, во второй дѣйствительности, во снѣ».

Въ первой же дѣйствительности, несмотря на славу, деньги, шумъ и суету вокругъ, врядъ-ли Андреевъ чувствовалъ себя теперь хорошо. Онъ не производилъ такого впечатлѣнія. Во всякомъ случаѣ, видимо, становится онъ одиноче. Можетъ быть тѣ, съ кѣмъ сблизился бѣ душой, были за моремъ, за вуалями времени, но о дружбѣ, о «мужской, крѣпкой, глубокой, серьезной дружбѣ» онъ говоритъ теперь съ горечью. («Какъ странно звучитъ слово «дружба» — ты помнишь, что оно означаетъ? Я забылъ» 8 іюля 1909 г.). И еще:... «Замѣтилъ ли ты... что дружба ранняя ягода и приходитъ прежде другихъ? Любовь, какъ тѣнь, сопровождаетъ, пока есть свѣтъ, а для новой дружбы положенъ ранній предѣлъ. И если не захватилъ друга изъ юности, то новаго не жди; да и стараго не удержишь. И не случайность для меня, что кончилась моя дружба съ... — всѣ писатели дружатъ въ юности, а со зрѣлостью приходитъ къ нимъ неизбѣжное одиночество. Такъ оно и надо, пожалуй» (23 іюня 1911 г.).

Кажется, за эти годы Леонидъ Андреевъ и дѣйствительно новыхъ друзей не приобрѣлъ, а отъ

старыхъ отдалился, находясь въ Финляндіи. Кажется, жизнь его тамъ ограничивалась кругомъ (важнѣйшимъ, разумѣется) — семьи. Въ Москвѣ онъ появлялся рѣдко. Въ Петербургѣ литературныхъ друзей и всегда у него было мало; а въ литературѣ критической къ нему установилось отношеніе дурное. Вообще же въ его литературной судьбѣ много *русскаго*: безудержное возношенье, столь же безпощадная реакція. Ни шумъ, ни гонорары, ни интервью не могли скрыть рѣзкаго охлажденія къ нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чѣмъ громче, патетичнѣй онъ старался говорить, тѣмъ раздраженнѣй слушали. И за короткій срокъ своихъ удачъ и поражений могъ бы вспомнить покойный слова Марка Аврелія: «судьба загадочна, слава недостовѣрна». Или же — обратиться къ иному — къ собственной «Жизни Человѣка».

За это время мало приходилось его видѣть. Доходили временами письма, но все рѣже. Я зналъ, что онъ обрелся, что завелъ лодку моторную и скитается по шхерамъ. Мореходскіе инстинкты пробудились въ немъ внезапно; нравились брызги, пѣна, шумъ вѣтра, одиночество. Быть можетъ, нѣчто байроническое мерещилось ему въ одинокихъ блужданіяхъ. Вызовъ жизни, людямъ, гордость, честолюбіе надломленное.

Я видалъ его въ послѣдній разъ въ Москвѣ, осенью 1915 г. Шла его пьеса «Тотъ, кто получаетъ пощечинъ». Врядъ ли она шедевръ; врядъ ли совершенна, какъ и вообще мало *совершеннаго* оставилъ Леонидъ Андреевъ. Хаосъ, торопливость

и несдержанность, пылкость, недисциплинированность слишком видны въ его писаніи. Это враги совершенства. Но какъ и во всемъ главнѣйшемъ, что онъ написалъ, есть въ этой пьесѣ *андреевское*, ѣдкое, очень скорбное, сплошь облитое ядомъ горечи... Можно сердиться, спорить и критиковать, но равнодушно мимо не пройдешь.

Тяжкая душа, израненная и больная, мнѣ почувствовалась и въ самомъ авторѣ. Это иной былъ Андреевъ; не тотъ, съ кѣмъ философствовали мы нѣкогда на Прѣснѣ, бродили средь березокъ Бутова. Надломъ, усталость, тяжело бьющееся сердце, тягостная раздраженность. И лишь глаза блестя ииногда по-прежнему.

— Пьесу испортили, — говорилъ онъ. — Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри — онъ указывалъ на ворохъ вырѣзокъ, — какъ радуются всѣ эти ослы. Какое наслажденіе для нихъ — лягаться.

Онъ уѣхалъ въ Петербургъ смутный и подавленный, хоть иногда и много смѣялся и острилъ. Мы же, прощавшіеся съ нимъ тогда въ Москвѣ, его немногіе друзья, врядъ ли угадывали будущее, врядъ ли и думали, что живого, настоящаго Андреева, въ бархатной курткѣ и съ черными глазами, не «сонъ» и не «мечту» второй дѣйствительности, — намъ уже не увидѣть.

И мнѣ трудно говорить объ этихъ заключительныхъ годахъ земного странствія Андреева.

Знаю только одно: съ октября 1917 г. онъ не возвращался даже въ Петербургъ, жилъ въ Финляндіи. Революція его задѣла чрезвычайно. Пере-

жить ее ему не удалось. Сколько его зналъ я, былъ онъ индивидуалистомъ, индивидуалистомъ и ушелъ, писателемъ, за письменнымъ столомъ, скончавшись отъ разрыва сердца. Много волновалось вѣдь оно и въ тихія времена; бури ужъ не вынесло.

Когда мысленно я вызываю образъ Андреева, онъ представляется мнѣ молодымъ, чернокудырымъ, нервнымъ, съ остроблистающими, яркими глазами, какимъ былъ въ годы Грузинъ, Прѣсни, Царицына. Онъ лихорадочно говоритъ, курить, стаканъ за стаканомъ пьетъ чай гдѣ-нибудь на террасѣ дачи, среди вечерѣющихъ березъ, туманно-нѣжныхъ далей. Стъ нимъ, гдѣ-то за нимъ, тоненькая, большеглазая невѣста въ темномъ платьѣ, съ золотой цѣпочкой на шеѣ. Молодая любовь, свѣжесть, сіянье глазъ дѣвическихъ, расцвѣтъ ихъ жизни.

И навѣрно не могу я говорить съ холодностью и объективностью объ Андреевѣ, ибо молодая въ него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвѣтъ, ибо для меня Андреевъ вѣдь не просто талантъ русскій, тогда-то родившійся и тогда-то умершій, а, выражаясь его же словами, *милый призракъ*, первый полюбленный писатель, первый литературный другъ, литературный старшій братъ, съ ласковостью и вниманіемъ опекавшій первые шаги. Это не забывается. И да будутъ эти строки, сколь бы бѣдны онѣ ни были, дальнимъ привѣтомъ чужестранной могилѣ твоей, дорогой Леонидъ. Въ безсмертіе же духа твоего вѣрю.

Н. Телешовъ.

10*

За годъ или за два до того, какъ вышла первая книжка рассказовъ Леонида Андреева, — а вышла она въ 1901 году, — Горькій писалъ мнѣ однажды изъ Нижняго-Новгорода, что ему очень нравятся наши товарищескія собранія, такъ называемыя «Среды», гдѣ въ интимномъ кругу писателей, преимущественно молодыхъ въ то время, сами авторы читаютъ свои новинки, еще не появившіяся въ печати, самыя свѣжія новинки — прямо изъ-подъ пера, а товарищи высказываютъ о прочитанномъ свои откровенныя мнѣнія, — и что онъ, когда будетъ въ Москвѣ, непременно станетъ посѣщать эти Среды. Между прочимъ, Горькій писалъ, что рекомендуетъ и проситъ пріютить и приласкать молодого, начинающаго писателя, Андреева, человѣка хотя и неизвѣстнаго, но очень милого и талантливаго.

Вскорѣ послѣ этого Горькій пріѣхалъ въ Москву и въ первую же Среду привезъ къ намъ Андреева. Это былъ молодой человѣкъ, типа студента, съ красивымъ лицомъ, очень тихій и молчаливый, одѣтый въ пиджакъ табачнаго цвѣта. Въ десять часовъ, когда обычно начиналось чтеніе, Горькій предложилъ выслушать небольшой рассказъ молодого автора.

— Я вчера его слушала, — сказала Горькій, — признаюсь, у меня на глазахъ были слезы.

— Начинайте, Леонидъ Николаевичъ, — предложили Андрееву. Но тотъ сталъ говорить, что сегодня у него болитъ горло, что читать онъ не можетъ; словомъ, заскромничалъ и смутился.

— Тогда, давайте, я прочитаю, — вызвался Горькій.

Взялъ тоненькую тетрадку, сѣлъ къ лампѣ и началъ:

— Разказъ называется «Молчаніе»...

Чтеніе длилось менѣе получаса. Андреевъ сидѣлъ рядомъ съ Горькимъ, сидѣлъ, все время не шевельнувшись, положивъ ногу на ногу и не сводя глазъ съ одной точки, которую онъ выбралъ гдѣ-то вдаль, въ полутемномъ углу. Конечно, онъ чувствовалъ, что на него всѣ смотрятъ. Но врядъ ли онъ чувствовалъ, что каждая прочитанная страница сближаетъ съ нимъ этихъ, хотя и знаемыхъ, но все-таки чужихъ ему людей, среди которыхъ сидитъ онъ точно новичокъ въ школѣ.

Чтеніе кончилось... Горькій поднялъ глаза, ласково улыбнулся Андрееву и сказалъ:

— Чортъ возьми, опять меня прошибло!

«Прошибло» не одного Алексѣя Максимовича. Сразу стало ясно, что въ лицѣ новичка Среда приобрѣла хорошаго товарища. Находившійся среди насъ Миролюбовъ, издатель популярнаго въ время «Журнала для всѣхъ», подошелъ къ Андрееву, взялъ у него тетрадку и убралъ въ карманъ. У Андреева глаза заблестѣли. Печатать у Миролюбова, въ его журналѣ съ такой хоро-

шей репутаціей и съ громаднымъ количествомъ подписчиковъ и читателей, было не то, что появляться въ «Курьерѣ», скромной московской газетѣ, гдѣ пока онъ работалъ. Это было первымъ и хорошимъ шагомъ впередъ.

Вскорѣ рассказъ былъ напечатанъ.

Андреевъ съ перваго же раза сдѣлался въ Средѣ своимъ человѣкомъ. За «Молчаніемъ» слѣдовали другіе рассказы, и всѣ они проходили черезъ Среду. И «Жили-были», и «Сергѣй Петровичъ», и «Стѣна», и знаменитая «Бездна» — все было читано самимъ авторомъ по черновымъ тетрадкамъ. И авторъ выслушивалъ самые искренніе отзывы, какъ съ похвалой, такъ и съ возраженіями. Однажды онъ прочиталъ рассказъ подъ названіемъ «Буяниха» и получилъ такой дружный отпоръ, что до сихъ поръ этотъ рассказъ нигдѣ не напечатанъ.

Однажды — лѣтъ уже черезъ семь или восемь, — когда Андреевъ былъ знаменитъ, я просилъ его дать для одного благотворительнаго сборника, въ чемъ онъ мнѣ никогда не отказывалъ, какую-нибудь вещь, а у него ничего готоваго не было; я вспомнилъ тогда про «Буяниху» и написалъ ему объ этомъ. Онъ отвѣчалъ мнѣ слѣдующимъ письмомъ:

«Рассказъ я для тебя напишу, клянусь въ этомъ потрохами того гуся, который спасъ Римъ, — но сдѣлать это раньше конца октября не могу. «Буяниха» — та, которую ты, къ сожалѣнію, не забылъ, есть позорнѣйшее явленіе въ литературѣ, стыдъ и срамъ и поношеніе человѣку. Цѣлую тебя»...

Андреевъ съ перваго же приѣзда точно слился со Средой. Онъ, кажется, не пропустилъ ни одного собранія. Всю зиму онъ приходилъ къ намъ въ своемъ «рыжемъ» пиджакѣ, былъ какъ усерднымъ чтецомъ, такъ и внимательнымъ слушателемъ, о себѣ былъ скромнаго мнѣнія и заработка имѣлъ тоже чрезмѣрно скромные. Въ концѣ зимы, когда у Андреева набралось уже нѣсколько рассказовъ, ему захотѣлось издать ихъ отдѣльной книжкой. Но это было очень нелегко. Какъ автора, его знали только свои люди; до большой публики и даже до издательскаго уха его имя еще не долетѣло. Наконецъ, какъ-то ухитрились, познакомили его съ однимъ очень крупнымъ издателемъ, уговорили того взять эту небольшую книжечку. Изъ уваженія къ рекомендуящимъ издатель взялъ, даже не читая: въ большомъ кораблѣ всегда найдется мѣсто для такого груза. Издатель выдалъ Андрееву гонораръ — помнится, 500 рублей за всю книгу — и посолилъ ее въ прокъ. Шли мѣсяць за мѣсяцемъ, а книжку и не думали сдавать въ типографію: а Андреевъ все ждалъ, все надѣялся: онъ придавалъ большое значеніе для себя появленію этой книги. И онъ былъ правъ, какъ потомъ оказалось. Эта книга вывела его сразу на широкую дорогу.

Помню, одно время его начинало смущать его собственное имя: Андреевъ.

— Хочу взять себѣ псевдонимъ, — говорилъ онъ, — да никакъ не придумаю. Выходитъ или вычурно или глупо. Оттого и книжку мою издатель не печатаетъ, что имя мое рѣшительно ни-

чего не выражаетъ. «Андреевъ» — что такое Андреевъ?.. Даже запомнить нельзя. Совершенно безразличное имя, ничего не выражающее. «Л. Андреевъ» — вотъ такъ авторъ!

— Но вѣдь есть же писатель Никитинъ, — возражали ему. — Всѣ его знаютъ, ни съ кѣмъ не смѣшиваются. Почему не быть теперь писателю Андрееву?

Эти поиски псевдонима кончились тѣмъ, что рѣшено было поставить на книгѣ не «Л. Андреевъ», а «Леонидъ Андреевъ». Это казалось ему менѣе безличнымъ.

Пока книжка его спокойно лежала у издателя, дожидаясь невѣдомо какой очереди или особо счастливаго случая, въ Петербургѣ возникло новое издательство — «Знаніе», во главѣ съ Горькимъ и Пятницкимъ. Конечно, рассказы Андреева оказались здѣсь очень желательными. Нужно было только расторгнуть первый договоръ. И опять пошли къ издателю тѣ же лица хлопотать о томъ, чтобъ выручить обратно залежавшуюся книжку. Къ общему удовольствію, издатель самъ былъ радъ, что не нужно будетъ печатать какого-то Андреева, тратить на него бумагу и хлопоты. Въ минуту размѣнялись договорами, отдали назадъ 500 рублей, получили рукопись и — прямымъ ходомъ на почту и въ Петербургъ, въ типографію.

Всякій молодой писатель, въ первый разъ въ жизни печатающій свою книгу, знаетъ, что это за наслажденіе получать свѣжіе корректурные листы изъ типографіи, пахнушіе скипидаромъ и краской. Нѣтъ на свѣтѣ лучшаго аромата, нѣтъ на

свѣтъ никого въ эту минуту счастливѣе автора. Переживалъ эту радость и Леонидъ Николаевичъ, и пока печаталась его книга, онъ не выкладывалъ изъ кармана новые оттиснутые листы, такъ и носилъ ихъ съ собою и въ гости, и въ театръ, и на улицу.

Вспоминается мнѣ попутно слѣдующій эпизодъ. Въ ту осень, когда печаталась книга, ждали въ Москву Горькаго. Онъ долженъ былъ ѣхать изъ Нижняго-Новгорода въ Ялту. И вотъ однажды мы узнаемъ, что семья Горькаго пріѣхала сюда, а самъ Алексѣй Максимовичъ арестованъ. На товарной станціи, не доходя до Москвы, отцѣпили вагонъ съ Нижегородскаго поѣзда, поставили на курскіе рельсы и подъ надзоромъ жандарма отправили въ Подольскъ. Почему, зачѣмъ, надолго ли, — никто ничего не зналъ. Надо было повидаться; если можно — выручить; во всякомъ случаѣ выяснить дѣло. Андреевъ, Бунинъ и я рѣшили съ первымъ же поѣздомъ ѣхать въ Подольскъ; на вокзалѣ къ намъ присоединился Пятницкій и переводчикъ Горькаго на нѣмецкій языкъ — Шольцъ. Онъ нарочно пріѣхалъ изъ Берлина, чтобъ познакомиться лично съ Алексѣемъ Максимовичемъ и своими глазами увидеть, какъ живутъ въ Россіи знаменитые писатели... И увидалъ!..

Сюда же, на свиданіе съ Горькимъ, пріѣхалъ и Шаляпинъ. Здѣсь, на платформѣ Подольска, всѣ мы познакомились съ нимъ, а черезъ недѣлю онъ сталъ уже членомъ Среды. Шольцъ заинтересовался Андреевымъ, много говорилъ съ нимъ о его рассказахъ, о будущихъ планахъ и просилъ вы-

слать ему въ Берлинъ книгу, какъ только она выйдетъ, для перевода на нѣмецкій языкъ. Часа три провели мы въ Подольскѣ въ очень оригинальныхъ общественныхъ условіяхъ, отъ которыхъ непривычный нѣмецъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ; наконецъ, насъ всѣхъ переписали и подъ конвоемъ жандармовъ вывели изъ комнаты на платформу. Горькаго со скорымъ поѣздомъ отправили въ Севастополь, а насъ обратно въ Москву. Впослѣдствіи мы получили номеръ берлинской газеты, гдѣ Шольцъ подробно описывалъ нашу поѣздку въ Подольскъ и свою попытку увидѣть, какъ живутъ на Руси братья-писатели... Объ Андреевѣ онъ отзывался восторженно.

Книжка Андреева, наконецъ, вышла. Въ ней было всего десять рассказовъ, и стоила она 80 копеекъ. Большія надежды возлагалъ на нее Леонидъ Николаевичъ. Но того, что случилось, онъ не ожидалъ. Прежде всего онъ получилъ большое, очень хорошее письмо отъ Н. К. Михайловскаго, гдѣ тотъ привѣтствовалъ молодого автора, пророчилъ ему будущность и обѣщалъ написать о немъ серьезную статью. Вскорѣ хвалебная статья появилась въ «Русскомъ Богатствѣ» за полной подписью Михайловскаго, и этого было достаточно, чтобы литературный міръ считался съ появленіемъ новаго крупнаго дарованія. Имя Леонида Андреева стало сразу извѣстнымъ. Всѣ журналы и газеты заговорили о немъ. Книга его, что называется — «полетѣла». Потребовалось новое изданіе, которое вскорѣ и вышло, пополненное новыми рассказами, и въ ихъ числѣ «Бездной». Благодаря этой «Безднѣ»

вокруг имени Андреева поднялся шумъ, визгъ, улюлюканье.

Статьи «Новаго Времени» и Софьи Андреевны Толстой, громившія молодого писателя, только подливали масла въ огонь, и объ Андреевѣ и о «Безднѣ» заговорили всѣ — кто за, кто противъ. Самъ же Леонидъ Николаевичъ, улыбаясь, любилъ повторять среди пріятелей пущенный кѣмъ-то ка-ламбуръ:

Будьте любезны:
Не читайте «Бездны».

*

*

*

У Андреева была невѣста, очень милая молодая дѣвушка, курсистка, тоненькая, черненькая; звали ее Александрой Михайловной Вельгорской. Они появлялись всегда вмѣстѣ въ театрахъ на новинкахъ, въ концертахъ. Это была замѣтная и красивая парочка. И вотъ однажды я нашель у себя на столѣ слѣдующее письмо, оригинальное по тону, въ которомъ чувствовалась радостная забота счастливаго человѣка:

«Милый другъ. Будь моимъ отцомъ! Будь моимъ посаженнымъ отцомъ. Свадьба моя 10-го (черезъ три дня), въ воскресенье. Постороннихъ — никого, одни родственники — попросту. Голоушевъ — шаферъ. Будь моимъ отцомъ!.. Я прошу тебя: будь моимъ отцомъ! Если таковымъ быть окончательно не можешь, то пріѣзжай въ качествѣ друга. Доставь мнѣ радость, пріѣзжай. И еще разъ прошу тебя: будь моимъ отцомъ! Твой другъ

и сынъ Леонидъ Андреевъ. Будь моимъ отцомъ. Церковь: Никола Явленный на Арбатѣ. Будь моимъ отцомъ!»

И отцомъ его я былъ... Свадьба была очень веселая. Леонидъ Николаевичъ былъ какъ-то внутренне радостенъ и необыкновенно покоренъ. Что ему говорили, то онъ и выполнялъ, безъ возраженія, что называется — безъ оглядки, и съ удовольствіемъ.

Были и танцы. Андреева заблаговременно научили танцевать, и онъ танцевалъ вальсъ, польку и кадрили. Между прочимъ, подойдя ко мнѣ и глядя съ улыбкой на танцующія пары, сказалъ:

— А что, отецъ, если всю нашу Среду выучить танцевать?.. Представь себѣ: вотъ такъ же, какъ эти, вдругъ затанцуютъ — Вересаевъ, Бѣлоусовъ, Ванечка Бунинъ... Въ вихрѣ вальса вдругъ несутся мрачный Скиталецъ... или Маминъ-Сибирякъ съ своей трубкой и съ дымомъ... Очень занятно! Ты только вообрази...

Насколько я знаю, въ семейной жизни Андреевъ былъ очень счастливъ; правда — недолго: Александра Михайловна, которую было бы справедливо назвать его добрымъ гениемъ, умерла послѣ второго ребенка. За эти долгіе годы Леонидъ Николаевичъ много и хорошо работалъ и упрочилъ за собою большое литературное имя. Появился «Василій Фивейскій», прочитанный, какъ почти все андреевское, на Средѣ и съ громаднымъ успѣхомъ.

Къ этому времени возникла мысль издавать товарищескіе сборники: издательство «Знаніе» также интересовалось этимъ, и вотъ первый «Сборникъ

Знанія» за 1903 годъ былъ составленъ весь изъ матеріаловъ «Среды»: «Жизнь Василия Фивейскаго» вошла на первую страницу. За Андреевымъ слѣдовали Бунинъ, Вересаевъ, Горькій и другіе наши товарищи.

Къ этому времени Леонидъ Николаевичъ сталъ появляться вездѣ — въ гостяхъ, и дома, и въ театрѣ — въ поддевкѣ и высокихъ сапогахъ. Это дало мелкой прессѣ поводъ къ зубоскальству. Начали вышучивать андреевскую поддевку и совершенно некстати рассказывать въ печати объ Андреевѣ всякія были и небылицы, нерѣдко очень злыя и обидныя. Рассказывали, будто Леонидъ Николаевичъ выпиваетъ «аршинъ водки», то-есть ставить рюмку за рюмкой на протяженіи цѣлаго аршина и выпиваетъ ихъ безъ передышки одну за другою. Въ другой газетѣ напечатали, что писатель Андреевъ, «эта современная извѣстность», по поводу юбилея Златовратскаго надменно и удивленно спросилъ: «развѣ есть такой писатель, Златовратскій? я что-то не слыхалъ»... И весь этотъ вздоръ говорился про человѣка, который не только постоянно встрѣчался съ Златовратскимъ на Средахъ, но и подписалъ одинъ изъ первыхъ ему юбилейный адресъ... Быстрый и широкій успѣхъ Андреева породилъ много недоброжелателей и завистниковъ, которые по разнымъ поводамъ и подъ разными псевдонимами травили его изъ-за угла. Леонидъ Николаевичъ обычно отшучивался, но инья выходки задѣвали и обижали его. Но были и такія забавныя и остроумныя шутки, надъ которыми онъ самъ же искренно потѣшался.

Общество помощи учащимся женщинамъ пригласило Андреева устроить однажды въ ихъ пользу литературный вечеръ. Онъ взялся и пригласилъ товарищей изъ той же Среды. Интересъ къ этой группѣ писателей все разрастался. Билеты брались съ бою. Громадный залъ Благороднаго Собранія былъ переполненъ. Общество заработало хорошую сумму, но Андреевъ, какъ подписавшій афишу устроитель вечера, внезапно былъ привлеченъ къ отвѣтственности за то, что Скиталець прочиталъ стихотвореніе «Гусларь», гдѣ пророчилась революція и гнѣвъ народный...

«Пѣснь моя не понравится вамъ:
Завенить она словно кистень
По пустымъ головамъ . . .»

И пѣсня дѣйствительно «не понравилась» въ сферахъ. Концертъ прекратили, погасили электричество, а насъ всѣхъ вызывали потомъ къ слѣдователю, а затѣмъ свидѣтелями въ окружный судъ, гдѣ Леонидъ Николаевичъ сидѣлъ на скамьѣ подсудимыхъ и чуть-чуть не пострадалъ невѣдомо за что.

— Написалъ Скиталець, прочиталъ Скиталець, а меня хотятъ посадить, — смѣялся Леонидъ Николаевичъ.

Онъ любилъ шутку, острое слово, — о чемъ свидѣлствуютъ многіе изъ его фельетоновъ въ «Курьерѣ», подписанные «Джемсъ Линчъ». Нерѣдко онъ говорилъ:

— Меня почему-то зачислили въ кандидаты самоубійць... Неправда это: я люблю жизнь, люблю радость...

Тѣмъ не менѣе новые рассказы его становились все мрачнѣй: «Василій Эивейскій», «Докторъ Керженцевъ», наконецъ, «Красный смѣхъ»... Когда онъ писалъ этотъ «Красный смѣхъ», то по ночамъ его самого трепала лихорадка, онъ приходилъ въ такое нервное состояніе, что боялся быть одинъ въ комнатѣ, и его вѣрный другъ, Александра Михайловна, молча просиживала у него въ кабинетѣ цѣлыя ночи безъ сна, кутаясь въ теплый платокъ, облегчая мужа своимъ присутствіемъ и безмолвіемъ.

Недаромъ же на пьесѣ «Жизнь Человѣка», которую Андреевъ писалъ въ 1906 году въ Германіи, незадолго до смерти Александры Михайловны, есть слѣдующая трогательная надпись:

«Свѣтлой памяти моего друга, моей жены, посвящаю эту вещь, послѣднюю, надъ которою мы работали вмѣстѣ»...

Андреевъ, какъ я уже говорилъ, былъ очень преданъ Средѣ и всегда о ней заботился, привлекая интересныхъ людей.

«Отецъ! — пишетъ онъ мнѣ однажды. — Завтра соберется у меня народъ, братія литературная и прочая. Будетъ Вересаевъ, желающій съ тобой познакомиться, — пріятнѣйшій будущій членъ для нашихъ Средъ. Приходи обязательно».

И Вересаевъ становится съ той поры нашимъ товарищемъ.

«Отецъ! — присылаетъ онъ въ другой разъ коротенькую записку. — Въ Петербургѣ я говорилъ Короленкѣ, что Среда его ждетъ. Сегодня онъ пріѣхалъ въ Москву, но до Среды остаться не

можетъ, — почему назначъ Среду на понедѣльникъ».

И Среда (хотя и въ понедѣльникъ) провела съ Короленко очень интересный вечеръ.

Однажды Андреевъ привезъ къ намъ новичка. Какъ въ свое время его самого привезъ къ намъ Горькій, такъ теперь онъ самъ привезъ на Среду молоденькаго студента въ сѣрой форменной ту-журкѣ съ золотыми пуговицами.

— Юноша талантливый, — говорилъ про него Андреевъ. — Напечаталъ въ «Курьерѣ» хотя всего два разказа, но ясно, что изъ него выйдетъ толкъ!

Юноша всѣмъ понравился. И разказъ его «Волки» тоже понравился. И съ того вечера онъ сталъ членомъ Среды и ея посѣтителемъ. Это былъ — Борисъ Зайцевъ.

Андреевъ любилъ Среду, очень цѣнилъ ее отзвы, и не подѣлиться съ нею новинкой было для него почти недопустимо. Онъ всегда говорилъ: «Пока не прочту Средѣ, — никакую вещь свою не считаю законченной». Даже, когда онъ уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ почти съ годъ, его и оттуда тянуло выслушать мнѣнія старыхъ товарищей.

Въ Берлинѣ онъ разстался навсегда съ своей знаменитой поддевкой и, по словамъ его шуточного письма, написаннаго по-нѣмецки, ходилъ по городу «инъ цилиндръ, ундъ рокъ, ундъ онэ борода»...

Вотъ какъ описываетъ онъ самъ свое отношеніе къ Средѣ:

— «Милый мой Митричъ, — писалъ онъ мнѣ въ 1906 году, — удралъ я съ совѣта нечестивыхъ

и сижу въ Берлинѣ, проживу зиму. Работать тутъ удобно, но безъ милаго народу — скучно. Очень даже скучно! Какъ подумаешь про Среды и братію, что нѣтъ ихъ, такъ тошно станеть. Живу я здѣсь совершенно обособленно, и какъ-то не хочется обзаводиться новыми знакомствами: жалко старыхъ, и не теряется надежда къ нимъ вернуться. Разсчитываю очень много работать. На дняхъ должна родить Шура — вотъ ближайшая забота... Напиши, какъ ты живешь, какъ настроеніе, дѣла, работа; много не пиши, не стойтъ, а немножко — надо, чтобы уже совсѣмъ не порвалась связь. Жалко, что вся наша братія — и я въ томъ числѣ — не любитъ писать писемъ; при заграничномъ житіи получается полная оторванность отъ родины. Продолжая быть настойчиво членомъ Среды, буду присылать тебѣ мои вещи для прочтенія и обсужденія. На дняхъ пришлю тебѣ двѣ штуки: разсказъ «Елезаръ» и пьесу «Жизнь Человѣка». О первомъ можно и не говорить, но вторая вещь по формѣ новая, — опытъ въ нѣкоторомъ родѣ новаго строительства пьесы. Поэтому я очень прошу тебя, сообщи, какъ отзовется Среда. Ея совѣты и мнѣнія всегда были мнѣ важны, а въ новомъ дѣлѣ, въ которомъ я еще самъ иду ошупью, — наипаче. И попрошу тебя особенно: да не узнаютъ репортеры про «Жизнь Человѣка». Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали содержанія, а рукопись храни у себя и выдавай только подъ расписку. Будеть очень непріятно — прямо-таки вредно для пьесы, если газетчики заранѣе наболтаютъ глупостей. Голоушевъ писалъ въ свое вре-

мя, что «Савву» читали очень плохо. Такъ скажи тому, кто будетъ читать въ этотъ разъ, что читать нужно какъ книгу, безъ игры и особой выразительности. Просто читать — и больше ничего. Скажи милымъ, что кто можетъ, пусть напишетъ пару строкъ о своемъ житьѣ. Всѣхъ ихъ я цѣлую самымъ нѣжнымъ образомъ — просто скучно писать! Упрекни Зайчика, почему не отвѣчаетъ мнѣ, получилъ ли онъ мое письмо?.. Настроеній не имѣю, ибо работаю. Когда почитаю русскую газету, впадаю на нѣкоторое время въ меланхолю. Здоровье мое неважно. Литература — настраиваетъ дѣла не дурно. Вотъ не знаю, какъ въ Россіи встрѣтятъ «Савву», а здѣсь вообще идетъ хорошо. Ставится и на будущемъ мѣсяцѣ пойдетъ въ «Клейнеръ Театеръ» «Къ звѣздамъ». Въ Вѣннѣ народный театръ также ставитъ «Къ звѣздамъ». Въ другомъ вѣнскомъ театрѣ, говорятъ, хорошо идетъ «Савва». О революціи не буду писать ни слова, по меньшей мѣрѣ годъ. А можетъ и два. Плохо писать не стоитъ, а хорошо написать сейчасъ невозможно. Крѣпко цѣлую тебя. Твой Леонидъ. Берлинъ, Грюневальдъ, вилла Кляра. — Хорошая, братъ, вилла: живу прямо въ райской мѣстности. Зелень и цвѣты».

* *
*

Послѣ смерти жены Андреевъ бывалъ въ Москвѣ только наѣздомъ, а жилъ сначала на югѣ, потомъ въ Петербургѣ, потомъ, когда вторично женился, уѣхалъ въ Финляндію, выстроилъ себѣ тамъ дачу

и уединился. Однако, съ нѣкоторыми товарищами по Средѣ велъ переписку и время отъ времени присылалъ намъ свои новинки въ рукописяхъ, преимущественно пьесы: «Анатэму», «Царь-Голодь» и другія.

«Поклонъ старушкѣ Средѣ, — писалъ онъ мнѣ въ 1909 году изъ своей Райволы... — Если захочешь видѣть меня какъ меня, — выбери нѣсколько деньковъ и приѣзжай погостить, буду чрезвычайно радъ. Только въ деревнѣ я человѣкъ»...

«Совсѣмъ я расхворался: что-то съ нервами, что-то съ сердцемъ, что-то съ головой — все болить, и особенно распроклятая голова... Съ февраля и по днесь я не написалъ ни единой строки. «Анатэма» давно проданъ, и деньги давно получены, и денегъ тѣхъ уже нѣтъ — разошлись по долгамъ. Но что подѣлаешь, когда голова болить, и болить, и болить... Усталъ я».

Одно время пустили о немъ слухъ, что Андреевъ зазнался, не помнитъ друзей и т. д. Нисколько онъ не зазнавался. Вотъ письмо отъ 1913 года, полное вниманія и дружбы:

«Писалъ мнѣ Бѣлоусовъ, что ты былъ нездоровъ. Шлю тебѣ по этому поводу всяческое мое сочувствіе и привѣтъ. Видимся мы рѣдко, но словно мы съ тобой друзья дѣтства, такъ много ты мѣста занимаешь въ моей душѣ и сидишь тамъ крѣпко. И всегда хочется видѣть, и всегда чему-то вѣришь, чувствуешь какъ бы нѣкоторую опору... Есть такая возможность, что попаду въ Москву. Отдохнуть захотѣлось. Много я работалъ этотъ годъ, усталъ. И вотъ уже 4 дня хвораю: плохо сердце,

не выдерживаетъ большой нагрузки, прогибается. Вообще — мерзкое здоровье, а грѣховъ, кромѣ работы, нѣтъ никакихъ. Да еще разные подлецы подзуживаютъ, подсиживаютъ и нахаживаютъ»...

Во всѣхъ его письмахъ за цѣлый рядъ лѣтъ, когда онъ не жилъ въ Москвѣ, всегда есть заботливые вопросы про Голоушева, Шмелева, Бѣлоусова; всегда находится нѣсколько ласковыхъ словъ о «старушкѣ Средѣ» и о старыхъ товарищахъ...

Въ разгарѣ послѣдней войны, когда мы задумали издать въ Москвѣ сборникъ «Кличъ», Андреевъ немедленно прислалъ намъ свою «Младость»; въ сборникъ для плѣнныхъ прислалъ новый рассказъ. Вообще всегда былъ отзывчивъ, внимателенъ и велъ себя всегда какъ добрый товарищъ.

«Спасибо за «Кличъ», — писалъ онъ мнѣ въ 1915 г. — Много хорошихъ вещей... Твой хорошъ... Бунинъ, какъ во всѣхъ послѣднихъ вещахъ идетъ на круглой пятеркѣ. Но растрогалъ меня — до слезъ! — Тренивъ. Если знаешь его, скажи ему отъ меня, моей души, спасибо!.. О, если бъ я былъ здоровъ! Сейчасъ на мое обычное нездоровье сѣлъ сверху стрептококкъ. Ты его знаешь? Онъ хуже крокодила... Ахъ, хорошо бы собраться лѣтомъ небольшой дружеской компаніей въ 4—5 персонъ и ахнуть въ Соловки, на Бѣлое море — или куда тамъ!.. Сейчасъ во второй разъ прочелъ Тренива — и опять реву какъ бѣлуга. Молодецъ!..»

Въ теченіе почти двадцати лѣтъ, когда я знавалъ Андреева, часто видалъ его и въ обществѣ, и въ семьѣ, и на работѣ, я всегда зналъ его какъ человѣка съ ласковой хорошей душой, умнаго, интереснаго собесѣдника и вѣрнаго товарища. За цѣлый рядъ лѣтъ отдавалъ онъ Средамъ много вниманія и заботы, вносилъ много своего выдающагося дарованія и дѣлился съ первыми съ нами почти всѣми своими лучшими произведеніями. Въ послѣдній разъ онъ читалъ намъ своего «Сампсона». Дѣло было передъ самой революціей. А затѣмъ — событія отдѣлили его отъ насъ. Онъ остался въ Финляндіи по ту сторону границы и никакихъ писемъ, никакихъ свѣдѣній о немъ у насъ нѣтъ вотъ уже три года. Когда въ прошедшемъ году дошло къ намъ сюда краткое газетное сообщеніе, что писатель Леонидъ Андреевъ умеръ отъ паралича сердца, мало кто повѣрилъ въ правдивость этого извѣстія. Почти цѣлый годъ сомнѣвались и не вѣрили мы, хотя, конечно, ничего невѣроятнаго здѣсь не было. И по ту сторону, и по эту убыль идетъ неустанно и необычно. Но теперь, когда ближайшіе родные получили прямыя свѣдѣнія, сомнѣніямъ больше нѣтъ мѣсты. У старушки-Среды «Нѣкто въ сѣромъ» загасилъ еще одну яркую свѣчу, именуемую жизнью человѣка...

Прости, дорогой другъ!

Вспоминая Андреева, невольно вспоминаешь теперь самимъ имъ сказанное когда-то: «Горька бываетъ порой — очень горька — участь русскаго писателя. Но великое счастье — быть имъ!»

Москва, 1920 г.

Октября 23.

Евг. Замятинъ.

Было это въ 1906 году. Революція не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополію на любовь. Революція была юной, свободной, огнеглазой любовницей, — и я былъ влюбленъ въ Революцію...

По воскресеньямъ черезъ улицы Гельсингфорса торжественно, съ музыкой, со знаменами, проходила Красная Гвардія — знаменитый капитанъ Кокъ впереди. Въ паркѣ Тэлэ, среди сосенъ, сѣрыхъ и красныхъ гранитныхъ глыбъ, подъ фаянсовосинимъ іюльскимъ небомъ — устраивались маневры и ученья. Шопотомъ говорили, что тамъ, на этихъ притаившихся за зелеными бастіонами Свеаборгскихъ островкахъ — готовится что-то. А солнце все жарче, небо все тяжелѣе, все гуще синева, гроза все ближе.

И вотъ однажды вечеромъ газеты привезли телеграмму: Дума разогнана. На утро въ Рабочемъ Домѣ — толкотня, лихорадка. Финскіе рабочіе съ трубочками. Русскіе студенты. Свеаборгскій матросъ — въ штатскомъ пальто, а изъ-подъ пальто наивно бѣлѣетъ вырѣзъ матросской куртки.

На крыльцо вышелъ «Сѣдой» — весь спрессованный, крѣпкій, голова подернута инеемъ, — онъ

слылъ участникомъ декабрьскихъ событій въ Москвѣ. «Съдой» прочиталь воззваніе членовъ Думы и объявилъ:

— Завтра — митингъ въ паркѣ Кайсаниэмэ. Будеть выступать одинъ изъ членовъ Думы и — Леонидъ Андреевъ.

Всѣ связывали Леонида Андреева съ «Мыслью», съ «Василіемъ Фивейскимъ», но Леонидъ Андреевъ и революція... это было совсѣмъ новый Андреевскій ликъ, — и вся русская колонія повалила доставать билеты на митингъ.

Душный день. На полянѣ — высокая деревянная, вся въ цвѣтахъ, эстрада. Тѣсная, плечомъ къ плечу, толпа. Сзади, изъ-за деревьевъ, подымается темная, пятипалая рука — туча.

— Ахъ, Господи, пойдетъ дождь... И онъ не пріѣдетъ. Какъ вы думаете: пріѣдетъ? — воркуетъ сзади.

Это — партійная дѣвица. Подъ мышкой — свертокъ: можетъ быть, прокламаціи, голова — всегда на бочокъ, и однимъ глазомъ, по-индюшину, спокойно поглядываетъ вверхъ, на тучу.

Но музыка уже играетъ. Толпа раздвигается какъ Черное море, и въ узкомъ проходѣ среди тысячъ глазъ — двое: Леонидъ Андреевъ въ своей черной рубашкѣ, безъ шляпы, немного блѣдный, букетъ красныхъ розъ въ рукахъ, — и членъ Думы Михайличенко, приземистая, раскоряченная фигура, на шеѣ — огромный хомутъ изъ цвѣтовъ.

Ужъ не помню почему — но только меня откомандировали «занимать» Андреева. Онъ сосредоточенно-разсѣянъ, покусываетъ усы и, видимо, вол-

нуется. Передъ глазами, изъ-за чьихъ-то плечъ, на цыпочкахъ вытягивается индюшиная голова. Вотъ уже протолкалась, и впереди всѣхъ, и однимъ восторженнымъ, умиленнымъ глазомъ сияетъ прямо въ лицо Андрееву, и куда бы ни обернулся, — всюду передъ нимъ, къ нему, какъ стрѣлка компаса.

— Кто это? — спрашиваетъ на ухо.

— А такъ — дѣвица партійная. Изъ обожающихъ.

Можетъ быть, дѣвица примѣтила брошенный на нее Андреевымъ взглядъ, — не знаю. Но только — глядь уже дергаетъ меня сзади и шепчетъ:

— Послушайте... Ради Бога... Познакомьте меня съ Андреевымъ... Я не могу... Я должна пожать ему руку... Я должна...

Познакомилъ. Дѣвица, вся пылая и вытягиваясь на цыпочкахъ, восторженно лепетала что-то. На эстрадѣ Михайличенко въ своемъ хомутѣ разматывалъ неуклюжія, лошадиныя, битюговыя слова. Пятипалая туча ладонью покрыла солнце, брызнулъ теплый дождь. Андреевъ раскрылъ зонтикъ и разсѣянно, думая о своемъ о чемъ-то, улыбался плакучей дѣвицѣ. Туча быстро свалилась. Опять все ясно, хрустально сине.

Подбѣжалъ кто-то.

— Леонидъ Николаевичъ, вамъ...

Андреевъ немножко разсѣянно оглядывался: куда дѣвать мокрый зонтикъ? Нельзя же съ зонтикомъ на эстраду.

— Леонидъ Николаевичъ, ради Бога, дайте мнѣ,

я подержу вашъ зонтикъ — ради Бога... встрепала дѣвица.

Андреевъ сунулъ ей зонтикъ. И вотъ надъ головами — блѣдное, взволнованное лицо, букетъ кроваво-красныхъ розъ. И въ тишинѣ — рѣдкія, раздѣльные слова:

— Падаютъ, какъ капли, секунды. И съ каждой секундой — голова въ коронѣ все ближе къ плахѣ. Черезъ день, черезъ три дня, черезъ недѣлю — капнетъ послѣдняя, — и, громыхая, покатится по ступенямъ корона и за ней — голова...

Дальше — не помню. Помню одно: тогда это казалось очень значительнымъ, и красивымъ, и заражало. Послѣ каждыхъ двухъ-трехъ фразъ Андреевъ останавливался, переводчикъ, тоже рѣдко и раздѣльно, невольно подражая въ интонаціяхъ Андрееву, переводилъ его рѣчь по-фински. И это торжественное, медленное чередованіе медленныхъ словъ — напоминало пасхальную обѣдню: священникъ и дьяконъ читаютъ евангеліе стихъ за стихомъ, одинъ по-гречески, другой по-славянски...

Кончилъ. Долгая овація. Жадной, тѣсной кучкой осадили его внизу, у эстрады. Вытянутыя черезъ плечи головы, — настороженные уши, ловятъ и прячутъ какіе-то обрывки словъ. Наконецъ, отбился, выбрался.

— Не люблю, когда такъ много глазъ, — сказалъ онъ. — Не знаешь: какіе выбрать...

Онъ торопился сейчасъ же уйти. Протянулъ руку за зонтикомъ. Дѣвица отступила на шагъ, прижала зонтикъ къ сердцу и, умоляюще глядя

на Андрея индюшечьимъ глазомъ, быстро-быстро заговорила:

— Леонидъ Николаевичъ, ради Бога... Оставьте мнѣ зонтикъ... Ради Бога... Я буду его всегда — я буду его...

Андреевъ засмѣялся, хитро поглядѣлъ на дѣвицу:

— Ну ладно, Богъ съ вами. Только смотрите: берегите.

— Леонидъ Николаевичъ... Неужели вы думаете — неужели я...

Черезъ два шага, за деревьями, Андреевъ махнулъ рукой, захлебнулся отъ смѣха:

— Не въ томъ дѣло... Главное-то... Въдъ зонтикъ-то не мой, а нашей гувернантки...

Заговорить о чемъ-нибудь другомъ, потомъ опять вспомнить про зонтикъ — махнетъ рукой, захлебнется...

У выхода, прощаясь, онъ очень серьезно попросилъ:

— Только ужъ вы, пожалуйста, не говорите ей про зонтикъ. Зачѣмъ ей правду? Не надо...



Андрей БѢЛЫЙ.

Андрей БѢЛЫЙ.

Воспоминанія мои о Леонидѣ Николаевичѣ Андреевѣ двойственны: онъ съ одной стороны занималъ въ душѣ важное мѣсто; недавно еще потрясался огромнымъ разсказомъ его «Заклинающій Звѣря»; и мнѣ открывался космическій смыслъ, неосознанный вовсе, — въ Л. Н. •

А съ другой стороны — моя память о Леонидѣ Андреевѣ какъ то скудна; мы — такъ мало встрѣчались; нечастыя встрѣчи порою совсѣмъ занавѣшены памятью; точно густѣйшій туманъ поднимается тамъ, гдѣ должны бы отчетливо выплывать бытовые подробности встрѣчъ; черезъ этотъ туманъ выступаютъ отдѣльные, яркіе, острые два-три момента, гдѣ жестъ Л. Н., жестъ безсловесный, заунывный, ко мнѣ обращенный, прорѣзываетъ тотъ темный туманъ очень ясною вспышкой свѣта, подобнаго магнію; на мгновенья выхватываясь изъ тьмы, тотъ свѣтъ обнаруживаетъ очень странныя позы людей, производящихъ движенія, но во вспышкѣ, мгновенной, являющихся неподвижными, съ раскаряченными ногами: стоитъ человекъ съ неестественно приподнятою ногою надъ лужей, которую черезъ мгновение перешагнетъ; но движеніе — пропадаетъ во мракѣ (вѣдь вспышка мгновенна); и

кажется, что стояніе челоѣка надъ лужей съ приподнятою ногою продлится — тысячелѣтія.

Такъ изъ мрака безпамятства мнѣ выхватывается Леонидъ Николаевичъ, на мгновение вспыхнувшій.

Такъ: я помню его, передо мною стоящимъ посерединѣ пустой, освѣщенной, квадратной, предметами ненаполненной комнаты — квартиры на Прѣснѣ; тутъ только что, очевидно, сидѣли; разставлены стулья въ причудливыхъ сдвигахъ: ихъ двойки и тройки, полуобращенныя другъ ко другу сидѣньями, обрисовываютъ расположеніе только что сидѣвшихъ гостей; всѣ прошли: тамъ, въ дверяхъ, уводящихъ въ сосѣдную комнату, движутся; и — кажутся нелѣпыми силуэты; и — гуды людскихъ голосовъ глухо ухаютъ; можетъ быть, — тамъ закусываютъ; и, вѣроятно, тамъ — Телешевъ, А. Е. Грузинскій, покойный С. С. Голоушевъ, художникъ Первухинъ, Иванъ Бѣлоусовъ, Тимковскій и Чириковъ, и прочіе посѣтители Средь; я не помню, кто тамъ. Въ пустой комнатѣ передо мною Борисъ Константиновичъ Зайцевъ, спрашивающій о чемъ-то меня и мнѣ кажущійся низкорослымъ лишь оттого, что на плечи къ нему навалилась большая-большая и грузная фигура Л. Н., полуобнявшая Б. К. и поставившая на пустой стулъ — ногу; Л. Н. вглядывается въ меня своимъ острымъ, пронзительнымъ взоромъ совсѣмъ изумительныхъ, черныхъ глазъ, отгнѣняющихъ бѣлость спокойно-застывшаго лика съ упавшею черною прядью всклокоченныхъ какъ-то волосъ, перерѣзавшей лобъ.

Вся картина воспоминаний, какъ вспышка.

Что говорилъ Б. К. Зайцеву я, — не припомню; что было за симъ — не припомню; о чемъ говорили съ Л. Н.? Но я помню, что вышелъ межъ нами ненужный совсѣмъ разговоръ, производившій во мнѣ впечатлѣніе, будто оба мы напрягали усиліе говорить лишь о томъ, что намъ не было важно; межъ тѣмъ: черный взоръ Л. Н. остро и любопытно вперенный въ меня, изъ-за бѣлаго лика глясиль:

— «Да, да, — не увертывайся, братецъ мой.»

— «Дѣло вовсе не въ томъ, о чемъ рѣчь; дѣло въ томъ, что за рѣчью...»

— «А ну-ка, а ну-ка ты, покажи-ка мнѣ, что такое тамъ происходитъ въ тебѣ.»

— «Какъ ты смотришь, когда ты одинъ?»

Такъ сказалъ неморгающий взоръ, разрѣзающий разговоръ о предметахъ искусства, который межъ нами возникъ; очень блѣдныя щеки и носъ, очень блѣдный, борода, клоки неподвижныхъ волосъ — мнѣ казались совсѣмъ не имѣющими отношенія къ происходящему между нами общенію.

Тутъ я почувствовалъ: Л. Н. мнѣ сталъ близокъ и милъ; между тѣмъ: въ эти годы мы были въ противоположнѣйшихъ лагеряхъ; мы, «Скорпионы», писателей «Знанія» полагали противниками, а писатели «Знанія» въ лучшемъ случаѣ насъ считали «чужаками, въ худшемъ — чѣмъ то въ родѣ измѣнниковъ... традиціямъ... общественности»¹⁾. Мнѣ творенія «Леони-

¹⁾ Слова Горькаго.

да Андреева» прежде во многомъ казались родными; съ усиленіемъ, смѣшаннымъ съ родомъ досады на то, что Л. Н. насъ «не видитъ», старался быть сдержаннымъ я; старался быть внѣшнимъ съ прославленнымъ всѣми писателемъ, передъ которымъ газетные фельетонисты, травившіе насъ, забѣгали впередъ — пѣтушкомъ. Наконецъ: я не зналъ почти лично Л. Н.; все то было заборомъ межъ нами; но черезъ «заборъ» вдругъ проникъ въ мою душу внимательный взглядъ, любопытный, меня ободряющій, точно сказавшій:

«Литературныя партіи и мнѣнія другъ о другѣ — какой это вздоръ: одинаково мы одиноки въ послѣднемъ, въ ночномъ.»

Все это длилось мгновеніе (вспышка магніа въ мракѣ); и взглядъ изъ-за словъ мнѣ запомнился; взглядъ чуть-чуть грустный, сочувственный «черезъ все»; нѣтъ, не помню я даже, въ которомъ то было году, — въ 1905 ли въ 1906 ли? Не помню я: въ тотъ ли вечеръ впервые мы встрѣтились; или — встрѣча произошла у С. С. Голоушева, на одной изъ уютнѣйшихъ «Средъ»; я въ ту пору ходилъ на собранія Средъ, тамъ спорилъ съ писателями, намъ далекими по стилю и вкусамъ; тѣ споры затѣивалъ С. С. Голоушевъ — о символизмѣ, который отстаивалъ я, на который обрушивался или тотъ, или этотъ писатель изъ «Знанія» (впрочемъ споры носили вполне дружелюбный характеръ: прекрасная атмосфера Андреевско-Голоушевскихъ Средъ не допускала газетнаго тона); шли ужинать.

Да я не помню, когда познакомились мы съ Лео-

нидомъ Андреевымъ; и — какъ познакомились; что было сказано между нами, — опять не припомню; массивную и казавшуюся неподвижной фигуру писателя я знавалъ до знакомства: я помню Л. Н., возвышавшагося головою надъ публикою в фойе Художественнаго Театра; казался застывшимъ въ бесѣдѣ; мнѣ помнится онъ прислоненнымъ къ стѣнѣ; и вокругъ — кучки барышень, кучки студентовъ, окидывающихъ писателя влюбленными взорами; помнилъ рубашку изъ чернаго бархата; и — высокіе черные гляцевитые сапоги; и — серебряный поясъ, затягивающій полнѣющій станъ. Въ этотъ вечеръ на Прѣсиѣ въ такой же рубашкѣ стоялъ передо мною, опоясанный тѣмъ же серебрянымъ поясомъ; но онъ былъ уже близокъ мнѣ; чѣмъ, — я не знаю.

Онъ былъ очень ласковымъ, гостеприимнымъ хозяиномъ; всѣ движенія полнаго тѣла напоминали мнѣ ритмомъ страннѣйшую гіератику фразъ его; и казалось, что все, что онъ дѣлаетъ, дѣлаетъ передъ собою самимъ; зорко видитъ себя среди насъ, отдѣленный пространствами: отъ себя; и смотреть: оттуда — сюда; переживанія — тамъ, а узнанія — здѣсь; знанія не накладывались на переживанія; знанія были — обыкновенными; переживанія — огромными; глядя знаніемъ на себя, — видѣлъ онъ пустоту (вмѣсто образовъ того міра); ошупывая переживаніемъ жизнь, — видѣлъ онъ: безтолковицу, къ которой старался себя привязать, чтобы не кануть въ дѣйствительность, относительно которой сознаніемъ не зналъ ничего: расщепъ; и — огромное одиноче-

ство; сидишь рядомъ: такой, какъ и всѣ; и — нѣтъ, нѣтъ; не такой; сидишь рядомъ, а — не коснешься; какъ путникъ, прильнувшій къ окну, гдѣ пируютъ друзья, онъ — внушаетъ себѣ, будто онъ здѣсь: с о в ѣ м и ; отсюда то: нѣкоторая театральность его; то — усиліе координировать ритмъ душевныхъ движеній — о т с ю д а с ю д а , протянуться къ стакану; другому — естественно это; а для Андреева жестъ — результатъ очень многихъ усилій: поволить отсюда (съ созвѣздія Пса, можетъ быть), то-бъ усиліе воли вошло въ аппаратъ, представляющій временно-пространственную оболочку «Андреева», сидящаго съ Бунинымъ — вы представьте — на Прѣснѣ.

Пространственная оболочка старается быть, какъ и всѣ: жестъ усилія кажется позою. Въ живости — слиш ком ъ жив ѣ , въ тишинѣ — слиш ком ъ медлененъ; вдругъ — острый взоръ, вспышка магнія, преодолювающая пространства: отсюда; и — упраздняющая представительство «Лео н и д а А н д р е е в а», отчего оболочка въ любую минуту способна произвести позу доктора Керженцева: быстро встать на карачки.

Я все это понялъ въ тотъ вечеръ; казалось: онъ понялъ, что — понялъ; неинтересны казались слова; я поглядывалъ на него изъ — «оттуда»; онъ — чувствовалъ, что поглядываю; я два раза поймалъ быстрый взоръ, обращенный ко мнѣ, и — ловящій меня (добродушный, чуть чуть ироническій); и я понялъ, откуда пускалъ на «карачки» онъ Керженцева; а онъ понялъ, что, собственно,

диктовало мнѣ фразу: «Все... кончено для человека, сѣвшаго на полъ»¹⁾).

Такимъ мнѣ — остался: въ чертахъ рѣдкихъ встрѣчъ; я съ нимъ встрѣтился, но — оттуда-туда. Въ здѣшнемъ могъ онъ ругать: я же могъ возмущаться непониманіемъ «знанъ евцевъ».

Что Л. Н. мнѣ и близокъ и дорогъ, я понялъ совсѣмъ неожиданно — только черезъ годъ, полтора, или два (снова — память туманна).

То было въ іюлѣ, иль въ августѣ 1907 года: на пыльномъ Арбатѣ, у дома Чулкова, гдѣ проживалъ докторъ Добровъ; я шель къ очень близкой знакомой, въ тѣ дни проживающей у Добрава; и у подъѣзда наткнулся на грузно выскакивающего съ велосипедомъ мужчину изъ темнаго и кривого подъѣзда; онъ сбиль почти съ ногъ меня; онъ обтиралъ потный лобъ; онъ былъ въ блѣдно-желтой, широкой, свисающей складками чесучевой рубашкѣ; сначала другъ друга окинули мы неприязненнымъ взглядомъ; и принялись извиняться; потомъ вдругъ откинулись, остановились; и мѣрили взоромъ другъ друга; мужчина въ рубашкѣ, придерживая велосипедъ, наклонился ко мнѣ:

— Вы, Борисъ Николаевичъ?

— Леонидъ Николаевичъ?

Онъ былъ, кажется, бритый; наоборотъ: я не брился два мѣсяца; у меня отросла борода; оттого то сперва не узнали другъ друга; по этому поводу мы обмѣнялися шутками.

Но во время минутной, совсѣмъ непредвидѣнной

¹⁾ I-ая «Симфонія».

встрѣчи я ощутилъ вдругъ приливъ прежней радостной близости, точно были мы очень и очень знакомы; я чувствовалъ: что-то хорошее по отношенію ко мнѣ поднимается въ немъ; въ простоватыхъ словахъ его чуялась ласка; опять перекинулись мы за словами какимъ то узнаніемъ другъ о другѣ, не соотвѣтствовавшимъ случайному стилюзначащихъ встрѣчъ. Онъ вдругъ молодо какъ то встряхнулъ волосами; взлетѣла упавшая прядка волосъ; и такъ быстро, такъ ловко вскочилъ на машину, свернулъ въ переулокъ.

Тутъ, въ томъ же домѣ, опять вскорѣ встрѣтились мы: провели вмѣстѣ вечеръ въ квартирѣ у доктора Доброва, гдѣ я часто бывалъ у знакомой; Л. Н. преподробно спрашивалъ въ тотъ вечеръ меня о петербургскихъ писателяхъ: А. М. Ремизовъ и А. А. Блокъ; онъ перебрался тогда въ Петербургъ; проявлялъ интересъ къ петербургскимъ писателямъ — нашего, декадентскаго толка; рассказывалъ вслухъ о проказахъ А. Ремизова; и съ любовью говорилъ мнѣ о Блокѣ. Въ настойчивомъ разговорѣ со мною о Блокѣ Л. Н. явно выказалъ любопытство; въ то время, какъ разъ, разошелся я съ Блокомъ; онъ, видимо, зналъ о причинахъ тяжелаго расхожденія этого; и словами о Блокѣ — меня онъ испытывалъ.

Средь собравшихся была барышня, за которой, какъ говорили, ухаживалъ я; былъ особенно съ нею онъ ласковъ, поглядывая на меня поощрительно.

Мы отошли отъ стола: обмѣнялися странными, малопонятными фразами; чувствовалъ: я могу передать ему мысли о немъ; онъ отвѣтилъ: острѣй-

шимъ, сочувственнымъ взглядомъ — чрезъ всѣ раздѣленія; словъ — вновь не помню (мгновенныя вспышки); померкли: въ пустѣйшей бесѣдѣ.

Я вскорѣ прочелъ «Жизнь Человѣка», которая потрясла меня; Б. К. Зайцевъ уговорилъ меня высказать свои впечатлѣнія въ фельетонѣ, что я и сдѣлалъ. Л. Н. былъ доволенъ моимъ фельетономъ. Я въ Кіевѣ высказалъ Блоку свое впечатлѣніе отъ драмы; со мной согласился онъ.

Позднею осенью Леонидъ Николаевичъ появился въ Москвѣ; мы видѣлись часто въ тотъ краткій періодъ; и не было между нами стѣсненности; казалось: хотѣлъ подойти онъ ко мнѣ; но подходы — не удавались.

Разъ помню, въ Художественномъ Театрѣ, въ фойе, я почувствовалъ чью-то мягкую руку у себя на плечѣ; обернулся: стоитъ Л. Н.; онъ — улыбается; заговорили, — о чемъ, я не помню, какъ вообще я не помню своихъ разговоровъ съ Андреевымъ; помню — молчаніе, подстилавшее ихъ; и оно было — доброе; разъ мы отправились съ нимъ въ это время откуда-то (я не помню, откуда) на представленіе «Бранда». Онъ очень внимательно слушалъ; и — восхищался Качаловымъ. Мнѣ же Качаловъ не говорилъ въ этой роли; потомъ говорили объ Ибсенѣ, тихо расхаживая въ антрактахъ по мягкимъ коврамъ; я сталъ жаловаться на разбитые нервы, на то, что давно затрепался на людяхъ. Л. Н. посмотрѣлъ на меня какъ-то наискось; и со вздохомъ сказалъ: «Перемудрили, Борисъ Николаевичъ, вы; вамъ въ природу бы; отобрать отъ васъ книги бы; поѣзжайте въ Фин-

ляндію — съ удочкой. Удить рыбу — мудрѣе, чѣмъ философствовать».

Къ Л. Н. очень тянуло меня въ это время; однажды къ нему я явился въ Лоскутную; и мы вмѣстѣ обѣдали; тамъ проживаль Боборыкинъ; перемогаль я мигрень; и боялся за вечеръ. Въ тотъ вечеръ я долженъ былъ, помнится, читать лекцію въ залѣ Политическаго Музея («О Фридрихъ Ницше»). Л. Н. далъ порошокъ отъ мигрени; въ тотъ день очень былъ возбужденъ онъ; и много рассказываль за столомъ объ одномъ поразившемъ его происшествіи со старою дѣвою, которой отчетливо показалось однажды, что вовсе она не невинна; она продолжала упорствовать въ мнѣніи, несмотря на рѣшительныя увѣренія врачей, что она ошибается; Леонидъ Николаевичъ это рассказываль мастерски; мы — смѣялись, а — дѣлалось жутко и страшно: отъ мимики совершенно серьезнаго, недоумѣвающаго лица; съ чуть приподнятой бровью Л. Н. намъ подмигиваль.

Помнится: послѣ обѣда пытался Л. Н. передать я о немъ что-то внутреннее; онъ — прислушался, насторожился, молчалъ. И — ничего не отвѣтилъ. Впослѣдствіи передаваль онъ кому-то:

— «Вѣдь вотъ: приходилъ Андрей Бѣлый ко мнѣ: говорилъ очень жарко; о чемъ говорилъ — я не понялъ ни слова...»

И я огорчился; я даже — обидѣлся; мнѣ казалось, что въ этихъ словахъ былъ намѣренный шаржъ — «для корреспондентовъ»; А. Бѣлый для нихъ былъ предѣломъ невнятности; вмѣстѣ съ тѣмъ: понималь я, что это — барьеръ,

образованный между нами тѣмъ фактомъ, что Леонидъ Николаевичъ принадлежалъ къ противоположному мнѣ литературному кругу; я понималъ: единственное, чѣмъ порой говорилъ его взглядъ, взглядъ оттуда (какъ вспышка бѣлѣйшаго магнія), — невоплотимо въ общеніе; мы другъ о другѣ узнали то самое, что лежитъ за предѣлами словъ; но — весь жизненный путь былъ различенъ; на этомъ различіи я поставилъ тогда твердо точку, сказавъ себѣ, что мнѣ нечего дѣлать съ Андреевымъ; никакого общенія здѣсь быть не можетъ; для тамъ же — общеніе остается; я больше не шелъ къ нему.

Разъ еще повстрѣчались случайно мы: на маскарадѣ у Юона; обращающій вниманіе профиль Андреева, блѣдный-блѣдный, съ заостреннымъ носомъ, съ косматой шапкой волосъ, — поднимался надъ масками, арлекинами, домино — неподвижно-застывшей маской; запомнился; очень-очень внимательный взоръ, очень строгій, передъ собой разрѣзающій пестрыя кучки игривыхъ и пляшущихъ пятенъ, вперенный въ мелькавшія маски, какъ будто то были живыя и вещныя сущности, выступившія передъ нимъ изъ-подъ марева буденныхъ пороковъ; поразилъ меня: эта пристальность жадно впереннаго взора; я понималъ, что то, что считаемъ мы масками, для Андреева — подлинность; что считаемъ мы подлиннымъ, для него — только маска; казалось: по маскамъ, скрывающимъ подлинный ликъ, узнаетъ утаенное масками; помнилъ мнѣ Леонидъ Николаевичъ, шествующій среди масокъ; теперь вокругъ него уже не было,

рокового, безвиднаго круга, его отдѣляющаго отъ всѣхъ насъ; здѣсь, въ фантастикѣ нашихъ взлетающихъ жестовъ, былъ съ нами душою онъ; не было въ немъ никакого оттуда; оттуда спустилось сюда; и средь насъ разцвѣтало лоскутьями блестящихъ тряпокъ и звономъ бубенчиковъ.

Я былъ — тоже подъ маской, запахнутый въ красное домино; и я дико проказничалъ; тамъ, изъ угла — расплясалась огромная, длинная пальма, которую изображалъ Пашуканисъ, трагично разстрѣянный черезъ одиннадцать лѣтъ; здѣсь — безумствовалъ Эллисъ, арабъ, размахавшійся саблей; я поспорилъ съ нимъ въ эти дни; пригласивши на вальсъ его, я кружился съ нимъ въ вихрѣ пестрѣющихъ тряпокъ; потомъ — пригрозилъ ему; онъ — испугался: меня не узналъ; не своей походкой расхаживалъ я, узнавая знакомыхъ; и голосомъ, измѣненнымъ, нашептывалъ что-то имъ; всѣ узнали другъ друга; и снимались маски; а я оставался — инкогнито; про меня говорили: «Скажите, а кто это?» Я разговаривалъ съ Поляковымъ, съ m-me Балтрушайтисъ; и оба — меня не узнали, хотя съ Поляковымъ встрѣчался я часто въ тѣ дни; и меня онъ зналъ близко; а тутъ, любопытно приставивши носъ къ узкимъ прорѣзамъ маски моей, онъ спрашивалъ, кто я такой: вдругъ я слышу отчетливо сзади:

— Кто это? А вотъ кто: Борисъ Николаевичъ...

Оборачиваюсь, — и вижу: стоитъ за спиной Л. Н. и смѣется совсѣмъ добродушно. С. А. Поляковъ — протестуетъ:

— Да что вы, совсѣмъ же не онъ...

Леонидъ Николаевичъ смотритъ, немного прищу-
рясь, мнѣ въ прорѣзи глазъ; и я — вижу, что передъ
нимъ не укроешься; но не желая нарушить инко-
ognito, онъ, слегка подмигнувъ мнѣ, — прошелъ
мимо: въ маски; я понялъ, что узналъ; и наблю-
дательность Л. Н., помнится, поразила меня; а
усмѣшка его, какъ при первомъ свиданіи, на Прѣснѣ
сказала:

— А помнишь, тебя я разспрашивалъ, кто ты —
такой: теперь знаю:

Опять что-то близкое, непосредственное мнѣ
пришло прямо въ душу; Андреева не было ужъ:
онъ — прошелъ чуть замедленнымъ, гѣратиче-
скимъ шагомъ, высоко поднявши серьезный, не-
много нахмуренный лобъ отъ щебечущихъ масокъ
— къ щебечущимъ маскамъ.

И больше его — никогда не видѣлъ; но онъ
жилъ во мнѣ, хотя зналъ, что не встрѣтимся мы
никогда въ томъ, что насъ единитъ; тамъ, —
быть можетъ; а здѣсь — никогда; наши встрѣчи
будутъ всегда плохо кончаться; онъ — будетъ
рассказывать обо мнѣ: «Пришелъ Бѣлый, —
наговорилъ: я — не понялъ ни слова». Я — о немъ:
«Нѣтъ, Андрееву не хватаетъ литературной культуры:
смотрите, — плохой онъ лубокъ». Между тѣмъ,
— зналъ я, гдѣ-то тамъ, что Андреевъ — огром-
ный, еще не раскрытый писатель: ни Телешеву,
ни Тимковскому не понять: онъ — не съ ними;
онъ — съ нами; онъ — нашъ; зналъ, мнѣ ду-
мается, и Л. Н., что мы съ нимъ гдѣ-то часто

встрѣчаемся, но... не въ Москвѣ, не въ Лоскутной и менѣе всего у С. С. Голоушева; мы встрѣчаемся — тамъ, — въ мірахъ сна, гдѣ всѣ маски суть сущности и гдѣ видимость Прѣсни, Лоскутной, Хамовниковъ, «Скорпіона» и «Знанія» — маски, порой омоложняемыя полыханіемъ страннаго свѣта, и мгновенно застывшія въ свѣтѣ, какъ фигуры омоложденныхъ вспышкой бѣгущихъ людей.

Да, всѣ образы творчества Леонида Андреева, весь его бытовой инвентарь — неподвиженъ, тяжелъ; онъ проходитъ застывшей стопой человѣка; и слышится шопотъ: «Богато и пышно». А Нѣкто стоитъ; и — свѣча догораетъ.

Такими фальшивыми фразами мнѣ казались мнѣнія натуралистической критики о «реализмѣ» Андреева, — объ огромномъ писателѣ, создававшемъ огромную каррикутуру на реализмъ: докторъ Керженцевъ падалъ тогда на карачки, поверженный проклятіемъ «Звѣря»; и утопатывалъ изъ распахнутой двери: во тьму.

То, что тайно таилось въ Андреевѣ, — вскрыло позднѣе себя (у него вмѣсто нашей реальности — пустота, вмѣсто нашей натуры — намѣренный манекенъ, вмѣсто символа — аллегорія); онъ — футуристъ (до футуризма): единственный въ нашей литературѣ мистическій анархистъ (Маяковский и Хлѣбниковъ, — неосознавшие себя мистическіе анархисты).

Я такъ написалъ о немъ въ ранней рецензій; точно такимъ показался мнѣ въ жизни; ходилъ надъ проблемою «Я» и все лучшее, что онъ далъ, было — «Я»; въ самокритикѣ нашего дневнаго со-

знанія, перенесеннаго въ сферы космической тьмы, разрывается разумъ Андреева; день покрывается пятнами масокъ; и ночь входитъ въ день: происходитъ дневной маскарадъ; и онъ голову прячетъ, какъ страусъ, въ общеніи съ кругомъ людей, представляющихъ для него лишь личины; и — сѣтуетъ въ разговорѣ съ его понимающимъ Горькимъ: «Ты вотъ умѣешь находить ихъ (то-есть людей), а за меня всегда цѣпляется какой-то репейникъ». ¹⁾

Расщепъ, мной замѣченный въ немъ, — раздражалъ; помню: вскорѣ въ порывѣ полемики я написалъ очень острыя строки по поводу его драмы «Анатэма»; Л. Н., кажется, раздражался всѣмъ стилемъ рецензій «Вѣсовъ»; направленія насъ развели; оказались позднѣй въ разныхъ полюсахъ (въ годы войны); если бы Леонидъ Николаевичъ былъ бы живъ, — мы не встрѣтились бы; но я видѣлъ всегда его — тамъ, гдѣ нѣтъ граней; я видѣлъ: встающее Чело Вѣка въ пространственно временномъ «Человѣкѣ»; любилъ я его: продолжаю любить; вчитываясь въ порою безпомощныя страницы, я вижу огромную силу, передъ которою пасуютъ зализанные стилистическіе приемы «словесниковъ» современности. Нѣтъ: онъ — не умеръ: раскроется въ будущемъ; мы сумѣемъ понять въ изреченномъ имъ неизреченное; поймемъ мы попытку: влить въ рѣчи людей ритмы космоса, чтобы орбита фразы вращеніемъ все того же напѣва напоминала бы орбиты вращенія космоса.

¹⁾ Изъ воспоминаній о Л. Н. Горькаго.

Онъ хотѣлъ быть огромнымъ — не для себя: онъ хотѣлъ отразить въ своей брѣнной писательской поступи — поступь Вѣка; походка его по исторіи литературы XX вѣка казалась порой театральной походкой. Казался Корнѣю Чуковскому онъ безкорыстнымъ актеромъ; онъ былъ Донъ Кихотомъ въ прекраснѣйшемъ смыслѣ; величіе имъ сотвореннаго въ яркомъ стремленіи къ великому; жизнь его книгъ эпопея. Въ личинѣ его жило «Я» всего міра, которое онъ не сумѣлъ осознать.

Берлинъ.

1922 года.

Содержаніе

	Стр.
М. Горькій	5
К. Чуковский	73
А. Блокъ	93
Георгій Чулковъ	105
Бор. Зайцевъ	125
Н. Телешовъ	147
Евг. Замятинъ	167
Андрей Бѣлый	175

752598

(45 70)

752598



